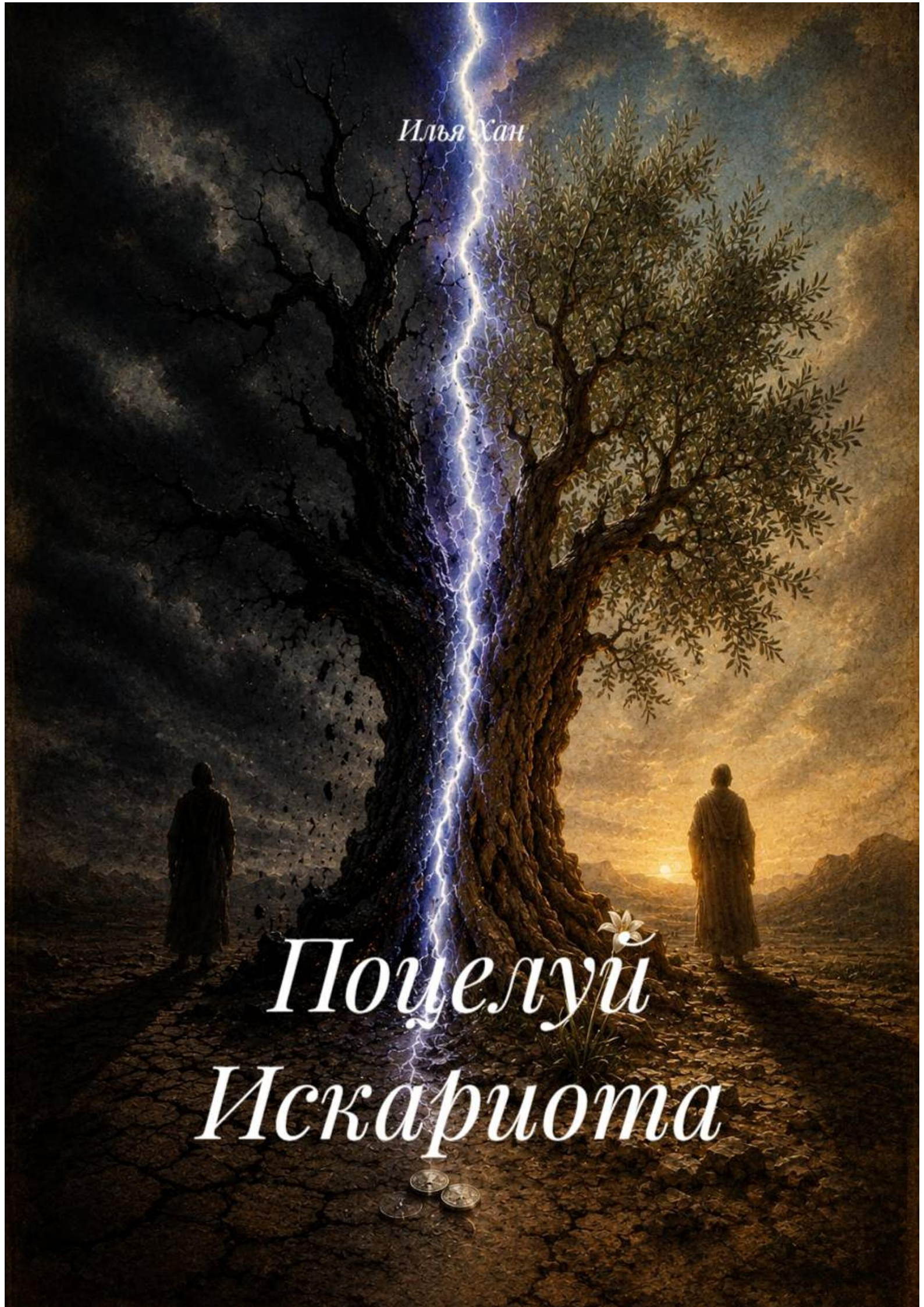


*Илья Хан*

*Поцелуй  
Искариота*



Илья Хан  
**Поцелуй Искарюта**

«Автор»

2026

## **Хан И.**

Поцелуй Искарюта / И. Хан — «Автор», 2026

Это роман-апокриф — авторская версия событий, не совпадающих с каноническим Евангелием. Московский режиссёр Роман Резников получает от таинственного антиквара древний свиток. Это дневник Иуды Искарюта, написанный им в ночь перед казнью учителя. Исповедь человека, который любил Христа так сильно, что решил помочь ему стать царем — и погубил обоих. Параллельно Резников, одержимый идеей постановки об Иуде, повторяет его путь в современной Москве.

© Хан И., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Глава 1. Рукописи могут найти тебя через две тысячи лет. | 5  |
| Глава 2. Говорить с самим собой, когда не с кем больше.  | 10 |
| Глава 3. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.        | 13 |
| Глава 4. Бесы не изгоняются ненавистью, только любовью.  | 20 |
| Глава 5. Первое убийство не забывается.                  | 32 |
| Глава 6. Каждая эпоха получает своего Иуду.              | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                        | 37 |

# Илья Хан

## Поцелуй Искарюта

### Глава 1. Рукописи могут найти тебя через две тысячи лет.

*«Иуда Искарюта, который и предал Его».*  
*<i>Евангелии от Матфея, глава 10, стих 4</i>*

Их история не даёт покоя всему миру уже более двух тысяч лет. К сожалению, не осталось точных описаний тех событий и точных свидетельств. Но по утрам встаёт всё такое же солнце и под ним живут всё такие же люди, склонные к ошибкам, но способные любить. Это же солнце вставало над Галилейским морем, когда учитель шёл с учениками, и так же клонилось к закату в вечер последней трапезы. Мы не знаем, как звучали их голоса, каким взглядом смотрел Иуда, принимая от первосвященника монеты. Евангелия рисуют его несколькими жёсткими словами –вор, одержимый, сын погибели. Но за этим описанием был живой человек, дышавший тем же воздухом, видевший те же чудеса, сомневавшийся, как и другие. Отчаяние привело его к дереву, и он ушёл, не дождавшись рассвета Воскресения. В этом и есть важный урок всей их истории: даже за самой чёрной пятницей может наступить воскресенье.

\*\*\*\*\*

Стояла глубокая осень. Роман Резников уже привык к тому, что в такое время года улицы пустеют, поэтому когда он свернул за угол, встреча с незнакомцем стала неожиданной. Тот, уловив его взгляд, молча протянул ему кожаный футляр.

–Я антиквар, у меня есть на продажу уникальная вещь. Вы, наверное, знаете, что на свете жил некто по имени Иуда, сын Симона, названный Искарютом. Вы держите в руках его дневник, написанный незадолго до того, как он совершил то, что сделало его главным предателем рода человеческого, стоимость этого чуда всего лишь десять тысяч рублей.

Резников взял футляр, и на мгновение ему показалось, что пальцы антиквара, передававшие вещь, были неестественно холодны. Получив плату, он слегка приподнял шляпу, прощаясь, и отступил в тень арки, ведущей во двор. Роман поднял глаза, чтобы спросить, откуда рукопись, но антиквар уже отступил в тень арки, и в темноте его лица не было видно, лишь блеск глаз, слишком старых для этого тела. Резников сделал шаг вперёд, в конце концов, это не могло быть правдой и походило на обычный розыгрыш, но в проёме уже никого не было. Только дождь шуршал по мокрому асфальту, и одинокий голубь, нахохлившись, сидел на водосточной трубе. Роман постоял с минуту, глядя в темноту арки. Туда можно было войти, двор наверняка проходной, старик просто быстро ушёл. Но что-то подсказывало ему, что делать этого сейчас не стоит. Что-то в тоне антиквара, в его чёрных, бездонных глазах, в том, как он произнёс слово «предатель», звучало по-особенному. Он перевёл взгляд на кожаный футляр в своих руках. Старая кожа, потрескавшаяся, но странно тёплая, словно её только что держали у тела. Капли дождя скатывались по ней, не задерживаясь, будто боялись испортить вещь. Он начал предчувствовать интересный сюжет, руки предательски дрожали. Резников заметил то, чего не увидел сразу. К футляру была привязана тонкая пурпурная лента, уже выцветшая, с бахромой на концах. А к ленте шнурок, на котором болталась маленькая картонная визитка, новенькая, словно её напечатали час назад на обычном принтере. На белом картоне было отпечатано всего три строки: «Антикварная лавка „Эребус“, затем адрес и номер телефона». Ни имени, ни часов работы, ни сайта. Только адрес и номер. Резников сунул футляр под мышку, вытащил телефон. Дождь уже начал заливать экран, он вытер его о рукав, набрал номер. Короткие гудки пошли

сразу, как у живого абонента. Первый, второй, третий. На четвёртом – щелчок, и механический голос произнёс:

– Абонент временно недоступен. перезвоните позже.

Он сбросил, набрал снова. Та же запись. Третий раз – то же самое. Ни автоответчика, ни возможности оставить сообщение, только этот безликий женский голос, который, казалось, издевался: «Временно недоступен».

– Чёрт, – пробормотал Резников и убрал телефон.

Адрес был в двадцати минутах, если срезать через дворы. Он сунул визитку в карман, поправил футляр и нырнул в арку.

Двор оказался длинным, извилистым, заставленным машинами и мусорными баками. Пахло мочой и прелыми листьями. Где-то на втором этаже орало радио, где-то в подвале стучал молоток. Резников прошёл двор насквозь, вышел в другой, потом в третий. Дом нашёлся быстро: двухэтажное здание из красного кирпича, с облупившейся штукатуркой и коваными воротами, которые явно не открывались лет двадцать. Ниже – приклеенная на скотч бумажка, пожелтевшая, с едва читаемым текстом: «Магазин закрыт на ремонт. Приносим извинения за неудобства».

Резников дёрнул ручку – заперто. Заглянул в щель между ставнями: внутри темно, ничего не разобрать. Позвонил в домофон – тишина. Постучал в дверь – глухой звук, будто за ней не комната, а стена.

–Эй! – крикнул он. – Есть кто?

Ни ответа, ни шороха. Прохожий с зонтом, пожилой мужчина в клетчатом пальто, замедлил шаг, глянул с подозрением.

– Вы кого ищете? – спросил он. – Там никто не живёт. Уже лет пять как дом расселили, скоро сносить будут.

– А антикварная лавка «Эребус»? – спросил Резников, показывая визитку.

Мужчина взял карточку, повертел, пожал плечами.

– Первый раз слышу. И вывески такой я здесь никогда не видел. – Он вернул визитку и пошёл дальше, буркнув под нос: – Розыгрыш, наверное. Их сейчас много развелось.

Резников остался стоять под дождём, глядя на глухую дверь. Телефон в кармане молчал. Визитка, которую он только что держал в руках, казалась теперь ненастоящей –слишком новой, слишком чистой для такого адреса, где всё покрыто слоем пыли и запустения. Дождь усиливался. Резников зашагал к Арбату –туда, где горели огни, где были люди, где можно было выпить кофе и сделать вид, что ничего странного не случилось.

Он не обернулся больше. И поэтому не заметил, как в верхнем окне дома, который якобы был расселён пять лет назад, на секунду зажегся свет –тусклый, жёлтый, –и сразу погас, словно кто-то задернул шторы.

Роман стоял с футляром в руках и не знал, что делать. Бежать сейчас домой? В пустую квартиру, где единственный собеседник – собственное отражение? Нет, это было скучно и далеко. А ему сейчас требовались люди вокруг, живой шум, аудитория, которая оттенила бы невероятность происходящего. Ему нужно было место, где можно открыть футляр и при этом не сойти с ума, если это окажется правдой. Кофейня нашлась сразу за углом – небольшая, с высокими окнами, запотевшими от тепла, и вывеской «Зерно и виноградная лоза». Роман на минуту остановился и увидел в окне своё отражение. Он видел себя, конечно, каждый день – в ванной, в прихожей, в витринах магазинов. Но сейчас он смотрел на своё отражение иначе. Как будто впервые. С той стороны стекла на него глядел мужчина средних лет, которому на вид можно было дать больше, чем его сорок три. Лицо осунувшееся, усталое. Под тёмными глазами залегли тени, волосы торчали в разные стороны; он машинально ерошил их, нервничая, сам того не замечая. Одет он был в тёмный свитер грубой вязки, который помнил ещё премьеру его последнего фильма. Ворот был вытянут, рукава обтрепались. Сверху – мятый

пиджак, который он второпях накинул, выходя из дома. Никакого плаща, никакого шарфа, он так и шёл под дождём, сам не зная зачем. Он перевёл взгляд на свои руки. Пальцы слегка дрожали от холода, ногти были обкусаны – старая привычка, вернувшаяся в последние недели вместе с бессонницей и тревогой. Роман снова посмотрел в отражение. Его собственные глаза смотрели на него из тёмного стекла, и было в них что-то похожее на испуг. Он толкнул тяжёлую дубовую дверь и вошёл в тепло, пахнущее свежемолотым кофе, корицей и сырым деревом. В зале было полупусто. В углу, под плетёным абажуром, сидели двое студентов с ноутбуками и наушниками, изолированные каждый в своём мире. У окна девушка с короткой стрижкой читала томик Ахматовой, машинально накручивая на палец прядь волос. Пожилой мужчина с профессорской бородкой просматривал «Вечернюю Москву», шелестя страницами. Бармен – молодой парень с дредами, в фартуке цвета кофе – приветливо кивнул вошедшему.

– Американо, большой, – бросил Резников, проходя в дальний угол.

Он выбрал столик у окна, спиной к залу. Так было спокойнее: никто не заглянет через плечо. Несколько мгновений просто смотрел на кожаный цилиндр, не решаясь открыть. Бармен принёс кофе в большой керамической кружке без ручки. Резников машинально кивнул, сделал глоток; кофе был горький, горячий, обжигающий нёбо. Это немного привело его в чувство.

– Хватит, – начал разговаривать он сам с собой, – это просто старый свиток и, наверняка, подделка. Сейчас откроешь и увидишь какую-нибудь ахинею, сувенирную грамоту. Никогда не слышал, чтобы в истории было упоминание о том, что Иуда вёл дневник.

Он оглянулся на зал: студенты по-прежнему сидели в наушниках, девушка перелистнула страницу, профессор углубился в статью. Никто не обращал на него внимания. Резников глубоко вздохнул, как перед прыжком в холодную воду, и открыл футляр. Внутри, в углублении, обитом выцветшим шёлком цвета запёкшейся крови, лежал свиток сантиметров тридцать в длину. Папирус желтоватый, с тёмными краями, намотанный на два костяных стержня, потемневших от времени. Он выглядел старым, очень старым. Как-то по-настоящему древним: на сгибах проступали тонкие, как паутина, трещины, и сам материал источал едва уловимый запах – сухой, пыльный, с ноткой ладана.

Резников осторожно, двумя пальцами, коснулся края папируса, аккуратно вынул свиток из футляра и развернул на ширину первой колонки. Резников любил историю и догадался, что буквы были арамейскими. Мелкие, изящные, выписанные тростниковым пером с нажимом так, что каждая буква отбрасывала микроскопическую тень. Он не знал арамейского, но само начертание завораживало: знаки не стояли ровно, они словно танцевали. Между слоями папируса лежали тонкие, почти прозрачные листы бумаги, исписанные от руки; здесь уже был русский язык. Почерк был странный, каллиграфический, чернила – бурые, выцветшие.

«Перевод для тех, кому предназначено это прочесть», – гласила короткая записка вверху. Резников хмыкнул: «Предназначено», как будто это и вправду мог быть оригинал дневника. Как будто он не может просто закрыть свиток и выкинуть его в урну, если захочет. Но он знал, что не выкинет, знал с того самого момента, как взял футляр в руки. Он развернул свиток до первого столбца текста, нашёл в переводе соответствующую строку и начал читать.

«Я тот, кого нельзя оправдать...»

Резников откинулся на спинку стула. Он механически взял кружку, сделал ещё глоток, не чувствуя вкуса. Что за наваждение, это же просто слова. Начало какого-то древнего текста, написанного неизвестным автором. Почему от них так тесно в груди? Ему даже показалось, что эта фраза адресована лично ему, Роману Резникову, специально для того, кто когда-то пытался снять фильм об Иуде и с треском провалился? И теперь, когда ему предложили купить «дневник», он просто не имел права перед собой отказаться.

Мы все знаем эту историю: Иуда был казначеем общины, носил денежный ящик и, как сказано в Евангелии от Иоанна, был вором. Он сам пошёл к первосвященникам и спросил, что

ему полагается за предательство Иисуса Христа. Тридцать сребреников – цена раба – стали формальной платой за сделку. Официальная версия гласит, что страсть к деньгам затмила в нём всё остальное. По другой версии – в определённый момент в Иуду вошёл сатана. Он настолько поддался греху: сначала мелкому воровству, потом ропоту, потом предательству, – что его воля оказалась полностью поработана дьяволом.

Роман оглянулся. Студенты сидели, девушка читала, профессор шелестел газетой. Ничего не изменилось. За окном шёл всё тот же дождь, редкие прохожие куда-то спешили, грохотал трамвай на повороте. Мир был обыденным, и посреди этой обыденности перед ним на столе лежал свиток, начинавшийся словами, которые не могли быть подлинными, но звучали так, словно им две тысячи лет.

Он заставил себя прочесть ещё несколько строк.

«...потому что сам я не ищущ оправданий. Я пишу это, сидя в тени старой маслины на склоне Елеонской горы, и солнце клонится к закату, окрашивая стены Иерусалима в цвет запёкшейся крови...»

Резников остановился, рука потянулась за сигаретой. В кофейне нельзя было курить – он знал это, но сейчас ему было наплевать. Он щёлкнул зажигалкой, глубоко затянулся и выпустил струйку дыма в сторону, чтобы не попасть на свиток. Бармен покосился, но ничего не сказал: то ли поленился, то ли увидел выражение лица Резникова и предпочёл не связываться.

Иуда Искарриот, – прокручивал он в голове. Дневник, дневник самого Иуды, чужья собака, не может такого быть. Но почему так руки дрожат, а сердце колотится, как у мальчишки, впервые открывшего запретную книгу?

Он прикрыл свиток, положив ладонь поверх, словно защищая текст от посторонних глаз. Посмотрел в окно: дождь усилился, капли бежали по стеклу, искажая контуры домов напротив. Москва за окном была размытой, нечёткой, словно на заднем плане плохо настроенной камеры. А текст под ладонью казался единственно реальным объектом во вселенной.

– Что со мной? – подумал Резников. – Я же взрослый человек, работал в театре, в кино, я знаю, что такое реквизит, мистификация. Мне подсунили фальшивку. Не могу же я принять это за подлинник в моём то возрасте? Наверное, стоит пойти домой и закинуть эти бумажки подальше в шкаф.

И всё же он не уходил. Он сидел, курил, допивал уже остывший кофе и чувствовал, как внутри, в той самой пустоте, что образовалась после провала его фильма, начинает набухать и пульсировать что-то забытое. Интерес, азарт, желание понять. Ему вспомнились слова одного критика: «Вы пытались рассказать о нём своим языком и потерпели поражение, возможно, стоит попробовать язык первоисточника».

Его фильм «30 серебряников для Иуды» вышел три года назад, прошёл в нескольких закрытых кинотеатрах страны, получил рецензии в малотиражных изданиях и тихо скончался. Его не показывали по телевизору, не обсуждали в интернете, продюсеры постарались замаять проект, как будто его и не было. А про него просто забыли и начали избегать – не всем понравилась его интерпретация библейских событий.

Он потёр виски: «Ладно, допустим, совпадение, что именно мне досталась эта рукопись. Или продавец из тех, что следят за авторским кино, специально для меня это принёс или просто угадал, что именно мне это будет интересно».

Но подделал ли он свиток? Ощущение подлинности, исходившее от рукописи, было явным. Резников повидал немало реквизита на съёмках, он знал, как выглядят состаренные вещи. Чайная заварка, наждачная бумага, обжиг краёв – все эти трюки были ему знакомы. Но тут никаких следов искусственного старения. Материал выглядел так, будто пролежал в пещере две тысячи лет. А запах, откуда у подделки такой запах?

«Ладно, – сказал он себе. – Без экспертизы ты не узнаешь. В конце концов, есть же радиоуглеродный анализ. Но дело не в анализе, дело в тексте. Он либо захватит тебя, либо нет».

Резников убрал ладонь со свитка. Снова развернул его, на этот раз чуть дальше, на второй столбец. Он не собирался читать всё прямо сейчас, в кофейне. Он просто хотел понять, что дальше: бегло просмотрел перевод. Сколько там всего? Листов десять, не меньше. Если это подделка, то кто-то проделал огромную работу. Или не подделка?

Он заметил на полях перевода пометки, сделанные той же рукой, но более бледными чернилами: «Здесь Иуда описывает первую встречу с учителем». Странность на странности, вопросы множались быстрее, чем ответы. Он вдруг почувствовал, что устал, события утра навалились разом, значит пора было уходить. Но уходить не хотелось. Хотелось сидеть в этом уютном полумраке, слушать шум дождя за окном и думать о человеке, который когда-то сидел под деревом на склоне Елеонской горы и смотрел, как закат окрашивает стены Иерусалима в цвет запёкшейся крови. Но все-таки он встал, бросил на стол несколько купюр – больше, чем стоил кофе. Бармен кивнул на прощание. Девушка с Ахматовой подняла глаза и на мгновение встретилась с ним взглядом. Резникову показалось, что в её глазах промелькнуло любопытство, но, может быть, просто показалось. Он вышел под дождь. Москва шумела, пахла бензином и осенью. Обычная Москва в это время года.

А все-таки что, если свиток подлинный? Что, если он, режиссёр провального фильма, без карьеры, без особого таланта, случайно прикоснулся к тому, что две тысячи лет ждало своего часа? Он усмехнулся своим мыслям и зашагал в сторону дома. В конце концов, там было ещё бутылка виски. А чтение такого текста требует полной тишины и хорошего алкоголя.

На углу он остановился и оглянулся. Арка, в которой исчез антиквар, была пуста. Только мокрая брусчатка поблёскивала в сером свете серого дня. И на мгновение Резникову почудилось, что в глубине арки кто-то стоит – высокая фигура в шляпе, – но стоило ему моргнуть, как видение исчезло. Он зашагал быстрее: вечер обещал быть интересным. Сюжет, который он так долго искал, похоже нашёл его сам.

## Глава 2. Говорить с самим собой, когда не с кем больше.

В камере пахло овечьей шерстью, плесенью и уксусом, который добавляют в воду римские легионеры. Светил масляный светильник, вылепленный из грубой глины. Огонёк его был робок, как новорождённый птенец, и всё время кренился влево, словно пытаясь заглянуть в угол, где сидел, скорчившись на циновке, человек. Человека этого звали Иуда, сын Симона, и в эту ночь он взял в руки перо. Червяк истины уже шевелился в нём, как младенец во чреве матери, и требовал выхода наружу. А поскольку говорить было не с кем, другие ученики разбежались, город затаился, и даже собаки в эту ночь не лаяли, словно чуяли надвигающуюся тьму, ему оставалось одно: говорить с самим собой.

Лист лежал перед ним, жёлтый, шершавый, купленный три дня назад у торговца-египтянина, который всё допытывался, зачем иудею столько материала для письма. Иуда тогда ответил коротко: «Мне нужно записать счета». Он в целом сказал правду. Только счёты эти были не денежные, а счета с Богом, с судьбой, с самим собой и с тем, кто сейчас сидел где-то в подвале дворца первосвященника и ждал рассвета, чтобы умереть мученической смертью.

Иуда стиснул перо, рука дрожала. Дрожала от усталости, от холода, от ледяного ужаса, который приходит после содеянного, когда понимаешь, что сделанного не исправить. Тридцать сребреников лежали тут же, на глиняном полу, брошенные в пыль, но он даже не смотрел на них. Они были для него неважны. Важно было другое: завтра, послезавтра, через сто лет, через тысячу люди будут произносить его имя, и оно будет означать «предатель». Лишь предатель – и ничего больше. Как будто не было его жизни до этого дня, как будто не было ещё детства, юности – ничего, кроме этого предательства. Все забудут, кроме одного. И никто не спросит: «А что ты чувствовал, Иуда из города Кериот?» Никто не поинтересуется: «А было ли тебе больно?» Никто не задумается: «А может быть, именно ты любил его больше всех?» Потому что я и есть тот, кого нельзя оправдать. Правда нуждается в свидетеле, – пронеслось в голове, и от этой мысли сделалось вдруг немного легче. Так узник, приговорённый к казни, чувствует облегчение, когда утром открывается дверь темницы, и стражник произносит его имя, потому что неизвестность страшнее самого приговора.

Он обмакнул перо в чернила. Чернила были бурыми, цвета крови. Иуда задержал перо над папирусом и горько усмехнулся. Огонёк светильника качнулся, по стене метнулась чужая тень, словно в камеру на мгновение заглянул кто-то, кого здесь быть не могло. Иуда не оглянулся. Он знал, что никого нет возле него – ни ангелов, ни бесов, ни любопытных соседей. Только он, папирус и тьма, которая образовалась внутри с того самого момента, как он поцеловал своего учителя в Гефсиманском саду. Поцеловал – и мир раскололся надвое: на «до» и «после», на тех, кто любит, и тех, кто предаёт, на жизнь и на смерть.

«Я хочу, чтобы люди будущего поняли, что я не хотел его смерти». Эта мысль жгла его, как раскалённый уголь, положенный на язык. Она была единственной правдой и самой невероятной ложью одновременно. Потому что как можно не хотеть смерти того, кого ты сам сдал страже? Как можно утверждать такое, если тридцать сребреников звякнули в твоём кошельке? Ответа не было, и именно отсутствие ответа заставляло его писать. Он должен был найти слова, чтобы объяснить то, что объяснить невозможно.

Иуда положил перо на край стола и потёр глаза. Они горели, будто в них насыпали песка. Он не спал двое суток: сначала пасхальная трапеза, потом задержание. Он всё ещё слышал шаги стражников, крик Петра, отчаянный женский плач Марии где-то вдалеке. Он всё ещё видел лицо учителя в тот момент, когда их глаза встретились в саду. Что было в том взгляде? Может быть, укор, понимание, любовь – или всё сразу. Иуда не знал этого.

Писать дневник – странное занятие для иудея. Его народ не писал дневников: зачем фиксировать то, что и так известно Богу? Но Иуда больше не был уверен, что Бог смотрит в его сторону. После его поступка – точно нет. Он чувствовал себя так, будто невидимая рука стёрла его из книги жизни, и теперь он существует где-то на полях, между строк, как примечание переписчика, которое можно пропустить, не заметив. Но именно поэтому нужно писать. Потому что, если его не видит Бог, пусть прочтает человек. Человек далёкого будущего, который, возможно, научится видеть дальше, чем его предки. Который сможет понять, что мир не делится на белое и чёрное, на Иуду и Петра, на грех и добродетель.

Я не хотел его смерти. Он повторил это вслух, и собственный голос показался ему чужим, надтреснутым, как старый кувшин, из которого ушла вода. Слова упали в тишину и не разбились. Тишина каморки поглотила их, как песок поглощает кровь. Тогда Иуда понял: если он не напишет этого сейчас, правда умрёт вместе с ним. А он чувствовал, что жить ему осталось недолго. Не потому, что кто-то угрожал ему – нет, до него теперь никому не было дела, потому что он сыграл свою роль в истории этого мира. И он сам, один, не сможет долго носить в себе эту правду: она была слишком тяжёлой для одиночества. За окном, закрытым тряпкой, поднимался рассвет. Иуда видел, как сереет щель между тряпкой и стеной, и этот серый, неумолимый свет наполнял его тоской, какой он не испытывал никогда. Он вдруг осознал чудовищную необратимость времени. Солнце взойдёт, римский прокуратор умоет руки, толпа выкрикнет своё «распи», и учитель пойдёт на Голгофу. И никто не спросит: «А что думал тот, с кого всё это началось?». Никто не узнает его мыслей, кроме, может быть, этого будущего читателя.

И тогда Иуда, сын Симона, взял перо и написал слова: «Я тот, кого нельзя оправдать, потому что сам я не ищу оправданий. Я хотел, чтобы он жил. Я хотел, чтобы он стал тем, кем должен был стать. И если для этого требовалось, чтобы меня проклинал весь мир, что ж, я принимаю эту цену. Я поцеловал его, чтобы мир узнал цену любви. Я предал его, чтобы мир увидел цену предательства. Я дал ему умереть, чтобы он воскрес. Понял ли я это до конца? Нет. Понимаю ли сейчас? Спроси меня завтра, когда поднимут кресты. А пока – читай. Читай, как я пишу свою историю с самого начала. Историю, когда я впервые увидел его на дороге близ Иерихона и подумал: вот человек, ради которого стоит жить. И, как выяснилось, ради которого стоит умереть».

Он дописал фразу и отложил перо. На папирусе остались слова; Иуда не знал, прочтает ли их кто-нибудь. Возможно, папирус истлеет в этой каморке или соседи пустят его на растопку. Но сам факт, что слова существуют, что они выведены чернилами на листе, приносил облегчение. Как будто он наконец признался в преступлении и в грехе, который совершил. Светильник замигал и погас – масло кончилось. Иуда остался в темноте, наедине с запахом укуса и овечьей шерсти. Где-то далеко прокричал первый петух. Иуда вспомнил Петра: тот сейчас, наверное, рыдает где-то, спрятав лицо в ладони, потому что за одну ночь отрёкся трижды. Пётр будет жить, а он, Иуда, станет предателем. И всё же странное дело: он не завидовал Петру. Каждому своё. Кому-то – ключи от царства небесного, кому-то – верёвка на шею. Он взял в темноте чистый лист и аккуратно свернул. Завтра – нет, уже сегодня – он продолжит. Расскажет, как всё было на самом деле. С самого начала. С того дня на дороге близ Иерихона. Расскажет про Магдалину, про Фому, про Петра. Расскажет про то, о чём молчат: про запах пыли на сандалиях учителя, про его смех, про то, как он смотрел на закат и молчал, а они, ученики, не понимали – их учитель молится или просто любит вид. Расскажет про любовь. Потому что, в конце концов, всё, что случилось, случилось из-за его любви, которая была настолько сильной, что превратилась в противоположность. Или осталась любовью, но такой, которая требует жертвы от того, кого любишь. А это, возможно, и есть величайший грех.

Иуда лёг на циновку, не раздеваясь. Утром нужно было выйти в город и узнать, что с учителем. Он уже знал, что увидит: избитое лицо, багровую полосу от удара, терновый венок. И всё равно пойдёт, потому что не может не пойти. Потому что любит его до сих пор, той самой

невозможной, сжигающей любовью, которая не умирает даже тогда, когда убиваешь объект своей любви собственными руками.

### Глава 3. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

В 16 году до Рождества Христова Иудея была царством, формально независимым, но фактически подчинённым Риму. На троне восседал Ирод, прозванный Великим, человек, имя которого произносили с трепетом, ненавистью и страхом. Он правил уже двадцать лет, и за это время перекроил страну так, как не удавалось никому. Ирод был идумеянином по рождению, полукровкой, потомком насильно обращённых в иудаизм эдомитян. Иудеи никогда не забывали ему этого. Для них он оставался чужаком на троне, римской марионеткой, узурпатором. Но он правил железной рукой. Он казнил своих врагов, включая членов собственной семьи: жену Мариамну, тётку Александру, трёх сыновей. Он уничтожил старую аристократию Хасмонеев и заменил её своими людьми. Его дворец в Иерусалиме был полон соглядатаев и доносчиков. Никто не чувствовал себя в безопасности, даже сам царь. Внешне Иудея процветала. Ирод строил, и строил с размахом, какого не знали со времён Соломона. Он основал Кесарию Приморскую, город, который должен был стать воротами в мир, с огромным портом, амфитеатром и храмом Августа. Он построил крепости: Масаду на неприступной скале, Иродион у края пустыни, Махерон на восточном берегу Мёртвого моря. Он строил театры, ипподромы, акведуки, бани. Греческие полисы в Самарии и Декаполисе получали его щедрые дары. Рим благоволил ему, Август называл его другом и союзником. Но внутри, за мраморным фасадом, страна стонала. Налоги были непосильны. Тайная полиция царя проникала повсюду. Тюрьмы были полны. Распятия на холмах стали привычным зрелищем. Ирод строил великое царство, но на костях своего народа.

Иерусалим тоже был огромной строительной площадкой. Ирод начал перестраивать главную иудейскую святыню—Храм, за четыре года до этого, в 20 году до н. э., и работы ещё только разворачивались. Тысячи рабочих, каменотёсов, плотников, носильщиков трудились на Храмовой горе. Груды камня громоздились у подножия. Повозки, запряжённые быками, везли мрамор из каменоломен. Стук молотков, скрип лебёдок, крики надсмотрщиков наполняли воздух.

Старый храм Зоровавеля, скромный и небольшой, ещё стоял на своём месте. Его постепенно разбирали и заменяли новыми конструкциями, но богослужения не прерывались, жертвоприношения совершались ежедневно, и ни один камень старого святилища не был потревожен раньше времени. Священники в белых одеждах двигались среди лесов и подмостков, как ангелы посреди земной суеты.

Город раскинулся на трёх холмах. Верхний город, где стоял царский дворец, сиял белизной. Дворец Ирода был огромен: лабиринт залов, внутренних дворов, садов и фонтанов. Там, в прохладных покоях, царь принимал послов и шпионов, подписывал смертные приговоры и планы новых построек. Рядом возвышалась крепость Антония, построенная на месте древней башни Хасмонеев. В ней стоял римский гарнизон – небольшой, но достаточный, чтобы напоминать, что Рим рядом, Рим всегда рядом.

Нижний город, теснившийся в долине Тиропеон, был совершенно иным. Узкие улочки, где два осла не могли разойтись. Здесь жили простые люди: ремесленники, подёнщики, водоносы. Их жизнь была тяжела, но они держались.

Иудейское общество при Ироде было расколото. Старая аристократия Хасмонеев была уничтожена. Новые вельможи, назначенные царём, были чужаками: идумеянами, греками, сирийцами. Они говорили по-гречески, одевались по-римски и смотрели на народ свысока. Первосвященников Ирод смещал и назначал по своей прихоти. Храмовая верхушка была полностью под его контролем.

Но народ держался закона. Фарисеи – «отделённые» – ходили по деревням и синагогам, учили Торе, спорили о субботних правилах, о десятинах, о чистоте. Они пользовались огром-

ным авторитетом среди простых людей. Ирод, при всей своей жестокости, боялся их и не трогал открыто. Когда однажды он потребовал от народа присяги на верность ему и кесарю, фарисеи отказались, и он не посмел их казнить.

В домах, в полях, на дорогах люди повторяли главную молитву: «Слушай, Иерусалим, Господь, Бог наш, Господь один есть». Они соблюдали субботу, когда нельзя было ничего делать так строго, что римляне считали их ленивыми. Они трижды в год – на Пасху, Пятидесятницу и Кущи – поднимались в Иерусалим, к Храму. Они приносили жертвы. Они верили, что однажды, скоро, очень скоро придёт Мессия. Сын Давидов, тот, кто сокрушит врагов, восстановит престол и принесёт Иудее вечный мир. Уже сколько веков пророчество не сбывалось, уже сколько поколений жило и умерло, не увидев Избранного, но вера не гасла. Она горела, как огонь в ночи, как светильник в святилище. Пророк Исайя писал: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Эти слова читали в синагогах каждую субботу. И каждую субботу сердца загорались надеждой: а вдруг уже здесь?

Если выйти из Иерусалима через Яффские ворота и спуститься в долину, попадаешь в другой мир. Крестьяне пахали землю деревянными плугами, запряжёнными волами. Сеяли ячмень и пшеницу, сажали маслины и виноградники. Жизнь была проста и тяжела. Налоги, царские, храмовые, римские, забирали до половины урожая. Сборщики податей, откупщики, стражники выколачивали деньги из бедняков. Многие разорялись, продавали землю, уходили в города или становились разбойниками на дорогах. Но крестьяне держались. Держались своей общиной, своей верой, своей землёй. Каждое утро мужчина выходил в поле с мотыгой или плугом. Он работал до полудня, когда солнце становилось невыносимым, потом укрывался в тени смоковницы, ел лепёшку, запивал водой из кувшина. После полудня снова работа – пока тени не удлинились и не приходило время возвращаться домой. Женщины мололи зерно на ручных жерновах, пекли лепёшки, ткали, пряли, растили детей. Девочки с ранних лет помогали матерям, мальчики – отцам. По вечерам семьи собирались у очага. Ели чечевичную похлёбку, козий сыр, маслины, запивали вином, разбавленным водой. И слушали, как старейшина или раввин читает из свитка Торы. Слушали рассказы о великих предках: Аврааме, Моисее, Давиде. Слушали пророчества о Мессии. Где-то в темноте, за стенами дома, выли шакалы. Ветер шуршал сухими травами. Звёзды горели над холмами, и люди верили. Верили, что их дети или дети их детей увидят того, кто придёт спасти их.

Дороги Иудеи были оживлёнными. Ирод, следуя римскому примеру, строил дороги, мостил их камнем, укреплял мостами, ставил сторожевые посты. По дорогам двигались караваны: верблюды везли пряности из Аравии, ослы – зерно из Галилеи, повозки – мрамор и дерево для строек царя. Торговцы из Тира и Сидона, Дамаска и Петры, Александрии и даже Рима встречались на этих дорогах. Они говорили на десятке языков, поклонялись десятке богов, спорили, торговались, пили в придорожных тавернах. Среди путников были и паломники, идущие в Иерусалим, и солдаты, марширующие в крепости, и беженцы, спасающиеся от долгов, и разбойники, прячущиеся в скалах. Римские патрули контролировали основные тракты, но в глухих местах, особенно в Иудейской пустыне, хозяйничали шайки. Путешествовать в одиночку было опасно. Люди собирались в группы, брали с собой оружие, нанимали охрану. На дорогах можно было увидеть и странные фигуры: отшельников, ушедших в пустыню молиться; пророков, возвещающих скорый суд; философов из Греции, ищущих мудрости; астрологов из Вавилона, следящих за звёздами. Они говорили разное, но в одном сходились: мир на пороге перемен. Что-то назревает. Что-то идёт.

Ночь в Иудее наступала быстро. Солнце падало за горизонт, и мир погружался во тьму. Только звёзды горели с невероятной яркостью, такими крупными и близкими, что казалось, их можно коснуться. В городах ночью закрывались ворота. Стража прохаживалась по стенам, переключаясь. Светильники в домах гасли один за другим. Только во дворце царя не спали:

Ирод, мучимый бессонницей и подозрениями, бродил по залам, проверял посты, допрашивал слуг. Он метался как зверь в клетке. В деревнях ночь была тише. Пастухи сторожили стада на склонах, сидя у костров, завёрнутые в грубые плащи. Они смотрели на звёзды и пели псалмы. А где-то далеко, за Иудейской пустыней, за Мёртвым морем, за горами Моава, лежали земли Востока: Вавилон, Персия, Индия. Там тоже смотрели на звёзды и ждали. Ждали знака, ждали царя, который родится под особой звездой. Пройдёт ещё два десятилетия, и эта звезда зажжётся. И маги с Востока увидят её и отправятся в путь.

Но пока был 16-й год до н. э. Тишина, ожидание, звёзды над Иудеей, горящие в ночи, как свечи в Храме. И невидимые глазу нити, связывающие прошлое с будущим, пророчества – с исполнением, небеса – с землёй.

\*\*\*\*\*

Кериот был городом, который Бог забыл, а люди вспоминали только затем, чтобы помянуть недобрым словом. Он лежал на юге Иудеи, в каменистой, иссушенной солнцем долине, где даже трава росла неохотно и лишь колючий кустарник цеплялся за жизнь, вгрызаясь корнями в известняк. Дома здесь были сложены из грубого камня, неотёсанного и серого, и напоминали не жилища людей, а окаменевшие гнёзда каких-то древних, вымерших птиц. Улицы петляли, как пьяные, и вели, казалось, в никуда. Но главным, что запоминал всякий, кто попал в Кериот, были камни. Они лежали повсюду: большие и малые, гладкие – белые от солнца и чёрные от старости. Они торчали из земли, как кости животных. Они валялись вдоль дорог, на полях, во дворах, словно какой-то великан сыпал их с неба, а подбирать поленился. Казалось, весь Кериот – один большой камень, из которого Бог, устав, высек лишь черновой набросок человеческого поселения и бросил, не закончив.

Маленький Иегуда – именно так, Иегуда, звали его до того, как греческий выговор превратил его в Иуду – ненавидел эти камни. Ненавидел с бессильной яростью, на какую способен только ребёнок, вынужденный расти среди того, что ему отвратительно. Камни были виноваты во всём. В том, что отец ходил с вечно согнутой спиной, надрываясь на поле, где урожай был очень скромным. В том, что мать, черпая воду из родника, всякий раз вздыхала, потому что вода отдавала известкой. В том, что его старший брат, Иаков, разбил колено, упав на острый край, и с тех пор прихрамывал. Но больше всего он ненавидел камни за то, что они смеялись над ним. В их молчании было что-то издевательское. Они словно говорили: «Ты родился здесь, среди нас, и умрёшь здесь, среди нас, и никто никогда не узнает, что ты вообще жил». Потому что Кериот – место, где ничего не случается. Где время течёт по кругу, как осёл, вращающий мельничный жёрнов.

В тот день, о котором речь, Иегуде было девять лет. Он сидел на плоской крыше своего дома, свесив босые ноги вниз, и кидал мелкие камушки в щель между соседскими постройками. Камушки стучали, отскакивали от стен, и звук этот был единственным развлечением в послеполуденный зной, когда всё живое прячется в тень, а воздух дрожит над камнями, как вода в котле.

– Ты похож на своего отца, – раздался за его спиной голос.

Иегуда обернулся. Дед, Авиезер, поднимался по приставной лестнице, медленно, кряхтя, ставя ногу на каждую перекладину с осторожностью человека, который давно не доверяет ни дереву, ни собственным коленям. Ему было восемьдесят – для тех времён возраст редкий, почти уникальный; глаза его, тёмные и глубокие, как колодцы, смотрели ясно и цепко. Борода, совершенно седая, лежала на груди.

– И чем же? – спросил мальчик, не оборачиваясь. Он любил деда, но сейчас был в угрюмом настроении.

– Тем, что ты смотришь вниз, а не вверх, – ответил старик, усаживаясь рядом и кряхтя ещё громче, чем при подъёме. – Симон, твой отец, тоже всё время смотрит под ноги. На камни, на пыль, на то, что внизу. А надо смотреть вверх, Иегуда, на звёзды, на Бога.

– Звёзды не растят хлеб, – буркнул мальчик словами, которые часто слышал от матери. Дед усмехнулся. Зубов у него осталось мало, но усмешка от этого не становилась менее заразной.

– Хлеб растят руки, – сказал он. – А звёзды растят душу. Ты знаешь, что каждая звезда – это знак? Каждая говорит о том, что было и что будет.

Иегуда бросил очередной камушек, на этот раз не целясь.

– Мне не нужны звёзды. Мне нужно, чтобы римляне ушли. Чтобы отец не платил податей, чтобы мать не плакала по ночам из-за того, что у нас нет денег, когда думает, что я сплю.

Дед помолчал. Он смотрел куда-то поверх крыш, туда, где в мареве раскалённого воздуха дрожали очертания голых холмов. Иудея, земля, которую Бог обещал Аврааму, а теперь отдал на откуп Риму. Земля, истекающая кровью и желчью.

– Ты говоришь как взрослый, Иегуда, – произнёс он наконец. – Но взрослые тоже не всё понимают. Взрослые думают, что римляне – главная беда. А я тебе скажу: римляне – лишь только плеть в руке. Важно, кто держит эту плеть и зачем.

Мальчик нахмурился. Он не любил загадок, любил ясность, определённую, то, что можно было пощупать руками или сосчитать. В девять лет он уже помогал отцу вести хозяйственные записи и гордился тем, что может сложить столбец цифр быстрее, чем Иаков, который был на пять лет старше.

– Ты снова про Бога говоришь? – спросил он.

Дед кивнул.

– Да, снова про него, про Бога Авраама, Исаака и Иакова. Про того, кто вывел нас из Египта и дал нам эту землю. Про того, кто обещал нам Мессию.

Слово «Мессия» Иегуда слышал не впервые. Оно звучало в синагоге, когда отец разворачивал свиток пророка Исаии, звучало на рынке, где нищие проповедники выкрикивали предсказания, звучало дома, когда отец с дедом говорили о политике за вечерней трапезой. Но звучало оно всегда как слово из сказки. Мессия был где-то там, в далёком будущем, в туманном «когда-нибудь», которое никогда не наступает.

– Деда, какой он будет, этот Мессия?

Авиезер повернулся к внуку. Глаза его вдруг засветились огнём, который, казалось, давно угас под пеплом прожитых лет. Он выпрямил спину, насколько позволял возраст, и заговорил:

– Ты хочешь знать, какой он будет? Слушай же, он будет не такой, как все. Он родится в безвестности, но слава его воссияет от края земли до края небес. Он будет из рода Давидова, из того же корня, что и мы с тобой. И когда он придёт, а придёт он скоро, очень скоро, потому что чаша беззаконий переполнилась, он сделает то, чего никто не ждёт.

Старик поднял руку и указал на камни, лежащие внизу.

– Видишь камни?

Иегуда кивнул.

– Эти камни не просто камни. Это камни нашей земли. Земли, которую Господь дал нам в удел. И когда придёт Мессия, даже эти камни оживут. Они станут хлебом для голодных. Они станут водой для жаждущих. Они сами поднимутся из земли и сложатся в стены нового храма, прекраснее того, что построил Соломон. Потому что Мессия – не просто человек, он царь, который соберёт войско, какого не видывал мир. И войско это будет из огня небесного. И он прогонит римлян, и других язычников, и всех, кто угнетает народ Божий. Он восстановит престол Давида и будет править от моря до моря, от реки Египетской до великих гор севера.

Иегуда слушал, затаив дыхание. Камушек, зажатый в пальцах, выпал и покотился по крыше, но он этого даже не заметил. В его детском воображении вставали картины, одна ярче другой: огненные легионы, расступающиеся камни, римские орлы, падающие в пыль. И посреди всего этого – Мессия, с лицом, похожим на солнечный диск, с мечом, который испепеляет, с голосом, от которого рушатся стены.

– А мы будем с ним? – спросил мальчик, и голос его дрогнул.

Дед улыбнулся и положил сухую, как кора старой маслины, руку ему на плечо.

– Мы, Иегуда, будем с ним. Ты, я, твой отец, твой брат. Потому что Мессия придёт к своим, и свои узнают его. Может быть, не сразу, может быть, он придёт не таким, как мы думаем. Но когда он поднимет знамя, мы встанем под него. И тогда никто, слышишь, никто не посмеет назвать нас псами. И никто не посмеет унижить нас, потому что мы будем воинами царя небесного.

Иегуда молчал, переваривая услышанное. В его душе происходило то, что происходит с каждым ребёнком, впервые соприкоснувшимся с великой мечтой: реальность раздвигалась, как ветхий занавес, и за ним открывалось пространство, полное света и смысла. Камни Кериота переставали быть просто камнями, они становились спящим воинством, ожидающим приказа. Каждая травинка, пробивавшаяся сквозь известняк, была знаменем. Каждое облачко на горизонте – колесницей, несущей освобождение. Но детство тем и отличается от зрелости, что мечта в нём ещё не натывается на реальность.

\*\*\*\*\*

Солнце уже клонилось к закату, и небо над Кериотом окрасилось в густо-багровый цвет, какой бывает только в Иудее, словно само небо помнит о крови, пролитой на этой земле. Иегуда сидел во дворе и строгал палочку ножом, подаренным дедом. Отец, Симон, вернулся с поля раньше обычного, потому что сегодня был день податей. Римская подать собиралась трижды в год, и каждый раз это было унижение, сравнимое разве что с публичной поркой. Сборщиком в Кериоте служил человек по имени Квинт Флавий, римлянин из вольноотпущенников, толстый, лысый, с маленькими свинными глазками и вечно потными ладонями. Он носил тунику с пурпурной полосой, на которую не имел права, и держался с особой наглостью, какая бывает у ничтожеств, дорвавшихся до власти. Квинт Флавий восседал на складном стуле посреди деревенской площади, и перед ним уже выстроилась очередь: крестьяне, пастухи, ремесленники – все, кто обязан был платить за право жить на собственной земле. За спиной сборщика стояли двое легионеров с короткими мечами, хотя в Кериоте никто и никогда не бунтовал, но римляне любили демонстрировать силу, особенно там, где в ней не было нужды.

Симон подошёл к очереди, когда солнце уже садилось. Он был уставшим, с лицом, серым от пыли, с мозолистыми руками, которые не разгибались до конца. Иегуда, повинувшись неясному порыву, увязался за ним; на площадь он ходил редко, а зрелище, пусть и неприятное, обещало хоть какое-то разнообразие. Очередь двигалась медленно. Каждый человек подходил к столу, кланялся – кланяться было обязательно, так предписывал закон – и выкладывал монеты. Квинт Флавий пересчитывал их с тщательностью, иногда покусывая монету, чтобы проверить, не поддельная ли, и записывал сумму в восковую табличку. Всё было буднично, почти скучно, пока не подошла очередь Симона.

– Симон сын Авиезера из Кериота, – произнёс сборщик, сверившись со списком. – Подать за землю, за дом и за право торговли маслом. Итого пятнадцать динариев.

Симон достал кошель и начал отсчитывать монеты. Иегуда видел, как дрожат его руки. Он знал, что пятнадцать динариев – это почти всё, что заработала семья за последние месяцы. Знал, что мать откладывала на эти деньги покупку новой одежды для младшей сестры, которая родилась прошлой весной, и что отец хотел купить второго осла, потому что старый совсем одряхлел.

Монеты ложились на стол одна за другой.

– Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, – сказал Симон, и голос его сорвался. – Четырнадцать...

Он замолчал, запустил руку в кошель и ничего не достал. Лицо его побелело.

– Четырнадцать, – повторил он, но уже тише. – Больше нет.

Квинт Флавий оторвал взгляд от таблички. Свинные глазки его сощурились.

– Пятнадцать, – сказал он отдельно, как говорят с глухими или с идиотами.

– У меня только четырнадцать, – ответил Симон. – Урожай был плохим в этом году. Камни, засуха, я доплачу в следующий раз, клянусь вам.

В очереди зашептались. Все знали Симона: он был честным человеком, всегда платил вовремя, никогда не просил отсрочек. Но Квинт Флавий не знал Симона.

– Ты слышал, что я сказал, – произнёс он, поднимаясь со стула. – Пятнадцать динариев. Не четырнадцать, не тринадцать, а пятнадцать. Закон один для всех, ты хочешь нарушить закон?

– Я не нарушаю, – сказал Симон. – Я прошу об отсрочке.

– Отсрочки не будет, – отрезал Квинт Флавий и кивнул легионерам.

То, что произошло дальше, Иегуда запомнил навсегда. Легионеры схватили Симона за плечи и поставили на колени прямо в пыль. Квинт Флавий обошёл стол и навис над ним, как туша.

– Ты знаешь наказание за неоплату налога: плеть, десять ударов. Или конфискация имущества.

– Но у меня семья! – воскликнул Симон. – Дети, если вы заберёте осла и землю, мы умрём с голоду.

Сборщик задумался или сделал вид, что задумался. Площадь замерла. Иегуда, сжимавшийся в тени колонны, видел, как его отец стоит на коленях перед римлянином, и чувствовал страх.

– Хорошо, – сказал наконец Квинт Флавий. – Я дам тебе отсрочку, но за это ты заплатишь дополнительный налог.

– Какой? – спросил Симон, ещё не веря, что буря может пройти мимо.

– Унижением, – усмехнулся сборщик. – Просто стой на коленях. И скажи вслух, чтобы все слышали: «Я, Симон, благодарю великий Рим за его милость и справедливость. Слава Богу, что великий Рим даровал мне милость». Скажешь – и я запишу тебе отсрочку; не скажешь – получишь плеть.

Площадь молчала, слышно было, как где-то на краю деревни заплакал ребёнок. Ветер нёс пыль, и она оседала на мокром лбу Симона. Иегуда смотрел. Он хотел закричать, но не мог издать звуков. Хотел броситься на легионеров, но ноги приросли к земле. Вот бы дед оказался рядом, дед бы что-нибудь придумал, дед не позволил бы. Но деда не было.

– Я жду, – поторопил Квинт Флавий.

И Симон сказал, медленно, с трудом выталкивая каждое слово, как камни из горла. Он сказал то, что требовал римлянин, и голос его был мёртвым, как камни Кериота. Легионеры отпустили его. Он поднялся с колен, не глядя ни на кого, и пошёл прочь с площади, слегка пошатываясь.

Иегуда догнал его уже у дома.

– Отец!

Симон обернулся, в его глазах стояли слёзы, единственные слёзы, которые Иегуда видел на лице отца за всю жизнь.

– Никогда, – сказал Симон, и голос его дрожал, – никогда не позволяй никому делать такого с тобой, слышишь? Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Но я сделал это ради тебя, ради семьи, и мне стыдно, стыдно перед Богом.

Иегуда ничего не ответил. Но слова эти, как семена, упали в почву его души и начали расти. Ночью он лежал на циновке, глядя в потолок, и прокручивал в голове сцену на площади. Пятнадцать динариев, десять ударов плетью. Слова благодарности Риму. И ещё рассказ деда о Мессии, который придёт, спасёт их всех и выгонит этих ненавистных римлян.

– Мессия будет царём, – повторял он про себя. – Он прогонит римлян, он соберёт войско. Он сядет на престол, и тогда никто, никто не посмеет поставить нас на колени.

Где-то вдалеке завывла собака. Скрипнула дверь, вернулся дед, ходивший к соседу. Иегуда закрыл глаза и увидел перед собой огромное войско, идущее по облакам, и всадника на белом коне, и меч в его руках. И лицо у всадника было такое, как на картине, которую он однажды видел в синагоге, прекрасное и страшное одновременно, лицо царя. Он уснул с этим образом. А наутро проснулся другим человеком, с мечтой, которая уже никогда не оставляла его, – мечтой о великом царе.

## **Глава 4. Бесы не изгоняются ненавистью, только любовью.**

Город лежал на западном берегу Геннисаретского озера, там, где вода, сбегая с гор, собиралась в синюю чашу, кормившую сотни рыбаков и их семей. Все вокруг было связано с этой деятельностью. Дома из чёрного базальта теснились вдоль узких улочек, окна выходили на север, чтобы солнце не выжигало глиняные стены, а внутренние дворы хранили прохладу даже в самый знойный час, когда воздух над озером дрожит, как вода в котле, и даже чайки прячутся в тени причальных навесов. Над крышами поднимался дым из десятков очагов, и этот дым, смешанный с запахом жареной рыбы и чечевичной похлёбки, был единственным, что объединяло богатые дома у маяка и лачуги бедноты у кожевенных мастерских. Не считая памяти. В Магдале помнили всё: помнили, как тридцать лет назад землетрясение раскололо стену старой синагоги, и раввин сказал, что это бог наказал город за грехи. Помнили, как римляне повесили на причале троих рыбаков, которые отказались платить налог, и тела их висели три дня, пока чайки не выклевали глаза. Помнили, какой купец кого обвесил, какая вдова продала дочь в Кесарию, какой пророк предсказывал конец света в прошлом году и ничего не случилось.

В одном из домов, на южной окраине, росла девочка. Её называли Марией – имя, которое носили тысячи женщин в Галилее, имя, которое ничего не значило и было самым обычным. Мария была дочерью Алфея, местного сборщика податей, и его жены Саломеи, тихой женщины с согнутой от усталости спиной.

Отец Марии был не из иудеев. Он родился в Антиохии, в семье греческого торговца, торговавшего оливковым маслом и шерстью, но ещё мальчишкой сбежал с караваном, идущим в Дамаск. Караван разграбили разбойники в пустыне, Алфея продали в рабство какому-то купцу, тот перепродал его в Иудею, где он со временем стал свободным человеком и даже смог заработать. На берегу Геннисаретского озера Алфей понял, что рыба – это золото, которое просто плавает прямо под носом у тех, кто слишком глуп, чтобы это понимать. Он начал скупку улова у бедных рыбаков. Это было нелегко. Рыбаки презирали перекупщиков, которые наживаются на чужом труде, не выходят в море, но получают долю прибыли. Алфею плевали под ноги, когда он появлялся на причале. Ему угрожали ножом, когда он предлагал цену ниже рыночной. Однажды его избili до полусмерти и бросили в воду, думая, что он утонет. Алфей не утонул. Он выплыл, добрался до берега, отлежался в канаве три дня и на четвёртый снова пришёл на причал с мешочком монет.

– Вы можете меня убить, – сказал он рыбакам, вытирая кровь с разбитой губы. – Но тогда ваша рыба сгниёт на берегу, а так вы получаете деньги, я получаю товар. Никто никого не грабит. Просто каждый делает своё дело.

Страх и нужда сломали сопротивление. Рыбаки, которые месяцами не могли продать улов за наличные, потому что в городе не было денег, а в деревнях был только бартер, начали приносить рыбу Алфею. Он платил серебром, настоящим римским серебром, которое принимали везде. Со временем он открыл солеварню, потом приобрёл несколько лодок и нанял работников из тех, кто не смог выплатить долги. К тридцати годам Алфей был одним из самых зажиточных людей в Магдале. К сорока – владельцем целой флотилии, нескольких складов на набережной и двух каменных домов: одного в городе, другого за городом, среди оливковых рощ.

Римляне ценили его за умение собирать чужие и платить свои налоги вовремя. Он никогда не задерживал подать, никогда не спорил с центурионами, всегда держал голову склонённой, когда говорил с ними. Он гнулся, но не ломался, как тростник на ветру. Соседи ненави-

дели его ненавистью, какую бедняки питают к тем, кто разбогател на их нищете. Но ненависть не мешала им покупать у него соль и брать в долг до следующего улова.

Мать Марии, Саломея, была иудейкой из Вифлеема, выданной замуж за Алфея по сговору её отца, задолжавшего сборщику крупную сумму. Саломея была красива в молодости; говорят, что в Вифлееме не было девушки с более тонкими чертами лица и более длинными ресницами. Но красота её увяла быстро, как цветок, посаженный в солёную почву. Она никогда не любила мужа, никогда не говорила ему лишнего слова, никогда не жаловалась, но и не радовалась. Она выполняла свой долг, вела дом, рожала детей, ткала. Саломея родила четырёх дочерей и одного сына. Сын умер в младенчестве, не прожив и месяца. Его похоронили в маленькой пещере за городом, и Саломея ходила туда каждую субботу, пока не запретили, муж сказал, что люди начали шептаться и ей нужно забыть о своей горе. После смерти мальчика и запрета к посещению Саломея замолчала совсем. Она перестала разговаривать с соседками, перестала ходить в синагогу по субботам, перестала даже перекидываться словом с дочерьми, когда те помогали ей по дому. Она говорила только тогда, когда это было необходимо, чтобы отдать распоряжение, чтобы позвать к ужину, чтобы сказать: «Ложись спать». В остальное время она ткала.

Станок стоял в углу главной комнаты, занимая почти половину пространства. Это была машина из оливкового дерева, с вертикальной рамой, на которой натягивались нити основы. Саломея проводила за ним по двенадцать, по четырнадцать часов в день. Звуки станка стали для Марии музыкой детства, такой же привычной, как крик чаек за окном и плеск волн о причальные сваи. Иногда, когда Мария подходила к матери и трогала её за рукав, Саломея поднимала глаза. В них не было любви или злости, была просто пустота, которая говорила: «Я здесь, но меня нет; делаю, что должна, но я уже умерла».

Мария рано научилась не ждать от матери тепла, пыталась искать его у отца, но это тоже было напрасно. Алфей был слишком занят деньгами, чтобы замечать дочерей. Для него они были обузой, четыре девочки, которых нужно было выдать замуж, собрать приданое, кормить, одевать. Он бил их, но не часто, даже редко, когда они слишком громко шумели и мешали ему считать доходы. И никогда не ласкал: ласки не были частью его мира.

Мария была третьей дочерью. Старшие, Марта и Сарра, часто помогали матери по хозяйству, мели двор, носили воду, разводили огонь в очаге. Младшая, Рахиль, была ещё грудной. Мария оказалась посередине: не старшая, чтобы командовать, и не младшая, чтобы нянчили. Она была сама по себе. С самого раннего детства Марию нельзя было назвать спокойным ребёнком. Она бегала по причалам босиком, её волосы вечно были спутаны ветром, а колени ободраны о ракушки и острые камни. Она не умела сидеть смирно, не умела опускать глаза при старших, не умела говорить шёпотом, как приличествует девочке, которая готовится стать женой. Она была слишком живая для этого города, где жизнь текла медленно, как вода в заливе, куда не доходит ветер.

В пять лет она влезла на мачту отцовской торговой лодки и просидела там до вечера, перемазавшись в смоле и перепачкав новое платье. Когда Алфей, вернувшись с рынка, увидел её наверху, он побелел от ярости. Он согнал её плетью, ударил раз, другой, третий, пока Мария не спустилась, дрожа и плача. Она не просила прощения, сжимала зубы и молчала.

В семь лет она впервые упала в воду, просто поскользнулась на мокрых камнях у старого маяка, куда ходила смотреть на закат. Место было пустынным, людей не было. Волна лизнула её, как собака, подхватила и утащила от берега. Вода была холодной даже в разгар лета из-за горных ручьев. Мария захлебнулась, наглоталась воды, почувствовала, как лёгкие разрываются от крика, который не может вырваться. Она кричала, плакала, тонула. Её увидел и спас какой-то рыбак, который оказался рядом: нажал ей на живот, вода пошла изо рта, и Мария закашлялась, задышала, зарыдала.

Старик отвёз её домой на своей лодке. Алфей, узнав, что случилось, даже не поблагодарил рыбака. Он вылил на Марию ведро солёной воды, чтобы неповадно было, как сказал, и запер в подвале на сутки. Подвал был тёмным, сырым, пах плесенью и гнилой соломой. Мария сидела в углу, обхватив колени руками, и слушала, как мыши скребутся за стеной, и думала, почему она спаслась.

С того дня, едва выдавалась свободная минута, Мария убегала на пустынный берег за старым маяком, где не было ни лодок, ни рыбаков, ни отцовских слуг, ни соседских языков. Там, среди валунов, обточенных волнами до гладкости, и ржавых якорей, забытых прежними поколениями мореходов, она училась держаться на воде, плавать. Она просто ложилась на спину, разводила руки в стороны, закрывала глаза и позволяла воде принять её. Тело её было лёгким, как у чайки, и она могла лежать так часами, чувствуя, как солнце гладит её живот, а вода целует шею, ласкает затылок, шепчет что-то на языке волн.

Рыбаки видели её, конечно. В Магдале всё видели, всё знали, всё передавали из уст в уста, прежде чем весть успевала облететь причалы. Один рыбак, который чинил сети у маяка, видел, как Мария входит в воду в своей короткой тунике, как её волосы распускаются по поверхности, как она лежит на спине и смотрит в небо. Он никому не сказал, потому что был стар и равнодушен к чужим грехам. А вот другой, молодой Симон, сын Ионатана, видел её однажды и даже попытался заговорить с ней, когда она выходила из воды, но Мария посмотрела на него так, что он отступил и больше не приближался.

Слухи всё равно ползли. «Дочь Алфея купается почти нагишом у маяка на глазах у всех рыбаков», «Из неё не выйдет хорошей жены». Женщины шептались у колодцев, мужчины усмехались в бороды, старухи качали головами. Но никто не доносил Алфею, потому что Алфей был сборщиком податей, а к сборщикам податей никто не лез без крайней нужды. Мария знала о слухах. Она слышала их краем уха, когда проходила мимо колодца с кувшином на плече. Она не останавливалась, не оправдывалась, не опускала глаза. Ей исполнилось двенадцать, когда мать, не переставая ткать, сказала ей:

– Ты просватана. Пойдёшь за Елиазара, сына Иосифа, из Вифсаиды.

Мария стояла в дверях, босая, с мокрыми после купания волосами, и смотрела на мать.

– Я не хочу замуж, – сказала она, голос её прозвучал твёрже, чем она ожидала.

Саломея подняла глаза от станка. Впервые за много лет Мария увидела в них жалость.

– Девочка, женщина не выбирает, женщину выбирают. Я не выбирала твоего отца. Моя мать не выбирала моего отца. Твоя дочь не будет выбирать. Так устроен мир, смирись.

– А если я не смирюсь?

– Тогда ты умрёшь в нищете и позоре, и шакалы выгрызут тебе глаза, прежде чем кто-нибудь найдёт твоё тело.

Мать не очень умела подбадривать своих дочерей. Мария сжала кулаки. Ей хотелось крикнуть: «Лучше смерть, чем эта жизнь», но она промолчала. Потому что знала: мать права, в этом мире женщины не выбирали. За них выбирали мужчины, отцы, братья, мужья. А те, кто пытался выбирать сами, кончали плохо. Она видела таких в Магдале. Одна повесилась на дереве за городом. Другую побили камнями за прелюбодеяние, хотя никакого прелюбодеяния на самом деле не было, просто муж захотел избавиться от неё и жениться на другой. Третья просто исчезла, ушла в горы и не вернулась. Говорили, что её растерзали звери, или что она стала игрушкой разбойников. Говорили много чего, а правды не знал никто.

Свадьба была пышной по меркам Магдалы. Алфей не поскупился, нанял музыкантов из Тивериады, их было пятеро, с флейтами, барабанами и греческой кифарой, на которой играл слепой старик с повязкой на глазах. Закололи трёх быков и два десятка овец, поставили бочки с вином, купленным в Кесарии по цене, от которой у Алфея самого свело скулы, и даже выписали из Иерусалима танцовщиц, к великому негодованию местных фарисеев, которые, впрочем, на пир не были приглашены. Все пили, ели, плясали, пели песни, неприличные песни, от которых

Мария краснела и отворачивалась. Но никто не обращал на неё внимания. Она была невестой, а невесты на свадьбе – товар, который переходит из рук в руки. Главное, чтобы товар был цел и не плакал слишком громко. Марию нарядили в белое льняное платье, расшитое голубыми нитями – узор в виде виноградных гроздьев, символ плодородия. Надели на шею ожерелье: золотые монеты, привезённые из Антиохии, каждая с изображением какого-то императора, которого Мария не знала и знать не хотела. Волосы ей заплели в двенадцать косичек – по числу лет, каждую перевязали шёлковой лентой. Лицо натёрли благовониями, так что она чихала каждые пять минут, и вывели к гостям.

Ей было двенадцать лет, жениху – двадцать пять. Елиазар, сын Иосифа, оказался человеком толстым, с рыхлым лицом и маленькими заплывшими глазками, похожими на две изюминки в тесте. Его руки были липкими от рыбьего жира: его семья владела копильнями в Вифсаиде. Он не был жестоким – по крайней мере, в первую брачную ночь он не ударил её. Он не был и добрым: не сказал ни одного ласкового слова, не спросил, боится ли она, не предложил ей поесть, хотя она ничего не ела с утра. Он был пустым, как глиняный горшок, который стоит в углу и ждёт, когда его наполнят.

Елиазар говорил с Марией мало, только по делу: «Подай», «Принеси», «Закрой дверь», «Потуши свет». Ел много, за обе щеки, чавкая и урча, как боров. Он спал, повернувшись к Марии спиной, и просыпался с криком, когда ему снились кошмары – старые матросские байки о морских чудовищах и затонувших кораблях, которые он принимал за чистую монету. Он был труслив, ленив и скучен, и Мария ненавидела его за это. Как и мать она делала то, что от неё требовалось. Вела хозяйство, убирала, стирала, готовила, доила козу, которую привели в приданое. Ходила на рынок, торговалась с торговками, которые обвешивали её, потому что она была молодой и неопытной. Она родила двух девочек, но обе умерли в младенчестве.

Первая прожила всего три дня, в течение которых Мария смотрела на неё и не смела прикасаться, потому что боялась сломать, заразить это крошечное существо, свернувшееся в комочек. Девочка умерла ночью. Мария проснулась от тишины: ребёнок не плакал. Она взяла её на руки, тельце было холодным, а личико – синим. Она не закричала, не позвала мужа, просто сидела и смотрела на мёртвую дочь, пока не рассвело. Елиазар, узнав, не плакал. Он только крякнул, вышел во двор, закурил трубку с дурманящей травой, которую привозил торговец из Египта, и сказал:

– Будет ещё, бог дал, бог взял.

Мария не ответила, а просто сидела у очага и смотрела на огонь. Она думала о том, что внутри неё образовалась пустота – чёрная, липкая, холодная. Пустота, которая росла с каждым днём, как опухоль, как язва, как смертельная болезнь.

Через год она родила вторую. Девочка прожила месяц, у неё были глаза матери – большие, тёмные, серьёзные для младенца. Она смотрела на Марию так, будто знала что-то, чего не знали взрослые. Мария кормила её, пела ей колыбельные, которые помнила из своего детства, те же самые, что пела ей мать. Пока девочка не замолчала навсегда. Она позволяла себе надеяться, и, как оказалось, зря.

Девочка тоже умерла во сне, тихо, без крика, без судорог, просто перестала дышать. Мария нашла её утром, когда пришла кормить. Ребёнок был ещё тёплым, но уже мёртвым. Мария взяла её на руки, прижала к груди и завывала. Она выла так, как воют волчицы, потерявшие детёныша, без надежды, что кто-то услышит и поможет. Елиазар услышал, но не пришёл. Он лежал на циновке, закрыв глаза, и ждал, пока вой стихнет. С того дня Мария перестала на что-либо надеяться. Она также делала то, что нужно было делать, но внутри неё ничего не осталось.

Потом, через два года после смерти второй дочери, Елиазар ушёл в море и не вернулся. Это случилось в марте, когда весенние штормы ещё не утихли, но рыбаки уже начинали выходить на лов, потому что голод не ждёт хорошей погоды. Елиазар взял свою лодку и поплыл

к восточному берегу, где, по слухам, водилась крупная рыба. С ним были ещё двое: его брат Ионафан и молодой парень по имени Матфий, которого взяли в первый рейс. Шторм налетел внезапно. Такое случается на Геннисаретском озере: вода, зажата горами, ведёт себя непредсказуемо. Ветер меняет направление за несколько минут, волны поднимаются выше человеческого роста, и даже опытные моряки не всегда успевают укрыться в бухте. Лодку Елиазара нашли на камнях у восточного берега через три дня. Она была разбита в щепки, мачта сломана, парус разорван, днище пробито в трёх местах. Тела не нашли. Волны скрыли их навсегда, как скрывают щепку, обломок весла, память.

Мария узнала о смерти мужа от соседки, которая прибежала к ней запыхавшейся и с горящими глазами; такие новости в Магдале передавали быстрее, чем пожар.

– Елиазар утонул, – сказала соседка, не скрывая злорадства. – Лодку нашли, а его нет. Ты теперь вдова, Мария.

Мария не заплакала. Она стояла в дверях дома, дома Елиазара, который переходил теперь к его братьям, и смотрела на озеро. Вода была спокойной, голубой, с лёгкой рябью, как будто ничего не случилось. Как будто она не забрала трёх человек три дня назад.

– Спасибо, что передала новость, – сказала Мария, закрыла дверь и села на пол.

Она просидела так до вечера. Потом встала, собрала свои вещи, она знала что будет дальше. Дом Елиазара она больше не увидела. Его братья, Иосиф и Иаков, пришли на следующий день и выставили её на улицу. «Всё, что в этом доме, принадлежит семье Елиазара», – сказал Иосиф. Мария не стала спорить, ей оставалось только вернуться назад в родительский дом.

Алфей к тому времени состарился. Он ослеп на один глаз – катаракта, которую не могли вылечить ни местные знахари, ни греческие врачи, которых он выписывал из Кесарии. Дела он передал управляющему, молодому иудею из Иерусалима, который оказался ещё более жёстким, чем сам Алфей. Управляющий не знал жалости: выколачивал долги, отнимал лодки, сажал в ямы. Под его началом бизнес Алфея процветал, но имя сборщика стало ещё более ненавистным, чем прежде.

Мать, Саломея, всё так же ткала. Но пальцы её уже не слушались, артрит скрутил суставы. Полотно выходило кривым, с пропусками, с узлами – Саломея не замечала этого. Она продолжала двигать челноком, удар за ударом, словно надеялась, что если сделать достаточно много ударов, то смерть придёт быстрее.

Отец принял Марию, она поселилась в маленькой комнатке над кладовой. Теперь она ткала за двоих, за себя и за мать, которая уже не могла нормально работать. Она вставала затемно, садилась за станок и работала до тех пор, пока не начинало темнеть в глазах, но она не жаловалась, потому что жаловаться было некому. Вскоре она поняла, что ткачество не спасает, – пустота внутри росла. Она заползала в неё по ночам, когда Мария лежала с открытыми глазами и слушала, как мыши скребутся за стеной, а отец кашляет в соседней комнате – старый, больной, одинокий. Она настигала её днём, когда Мария стояла у колодца и смотрела на своё отражение в мутной воде.

– Ты стала старой девой, – сказала ей однажды старшая сестра Марта, пришедшая в гости с мужем и тремя детьми. – Такая молодая, а уже старая дева, что с тобой случилось?

Мария не ответила. Она смотрела на детей Марты, двух мальчиков и девочку, розовощёких, шумных, живых. Ей хотелось прикоснуться к ним, погладить по голове, но она не посмела. Она боялась, что её бездетность заразна. Боялась, что если она дотронется до чужого ребёнка, то он заболеет и умрёт, как умерли её собственные.

В шестнадцать лет Мария впервые вышла на улицу без покрывала. Это был маленький бунт, почти незаметный: она просто накинула платок на плечи, оставив волосы распущенными, и пошла к причалам, чтобы купить свежей рыбы к ужину. Она не думала о том, что делает плохое. Она просто устала прятать лицо, устала опускать глаза, устала быть невидимкой. Хотелось воздуха, ветра в волосах, чтобы кто-нибудь посмотрел на неё и увидел просто женщину.

Прохожие оглядывались. Женщины шептались, мужчины смотрели, и в их взглядах было то, что заставляло Марию сжимать кулаки и ускорять шаг. Она была красива – даже после того, как жизнь выпила из неё почти всё. В ней оставалась какая-то дикая, необузданная красота, и мужчины чувствовали это. Через месяц она уже не носила покрывала вовсе. Через два начала разговаривать с матросами в портовых тавернах, через три позволила одному из них проводить её до дома.

Это случилось в сумерках, когда на Магдалу опускается лиловый сумрак и фонари на причалах зажигаются один за другим. Моряк был из Сидона, смуглый, с золотой серьгой в ухе и руками, покрытыми татуировками. Он говорил по-арамейски с ужасным акцентом, но Марии было всё равно. Ей не нужны были слова, ей нужно было забыть. Он заплатил ей монетой. Мария взяла её, не глядя, спрятала в складках одежды. И с этого дня началась её новая жизнь.

Её называли блудницей, потом одержимой, в которой живут бесы. Семь бесов, так говорили, именно семь, что значило, что в ней поселилось всё зло мира. Что она продала душу демонам. Что она проклята, и любой, кто приблизится к ней, будет проклят тоже. Но бесы не были демонами в том смысле, какой вкладывали в это слово фарисеи и книжники. Бесами Марии были горе, отчаяние, ненависть к себе, голод по любви, которую никто не мог утолить, и страх. Бесами были слёзы, которые она глотала, смеясь, и смех, который звучал как плач. Бесом была пустота внутри, куда она бросала каждого мужчину, который приходил к ней, надеясь, что хоть один заполнит её, но они падали, как камни в колодец, и дна не было слышно.

Каждая ночь была одинаковой и разной. Одинаковой, потому что всегда был мужчина, всегда были чужие руки, всегда было ощущение, что её тело больше не принадлежит ей. Разной, потому что мужчины были разными. Одни платили и уходили, не сказав ни слова. Другие задерживались, пили вино, рассказывали о своих семьях, о морских путешествиях, о том, как они убили человека в драке в порту Тира. Третьи были жестоки, били, кусали, оставляли синяки, которые Мария потом замазывала глиной, чтобы никто не видел.

Алфей умер, когда Марии было девятнадцать. Он задохнулся во сне, старая болезнь лёгких, которую он заработал в молодости, суша рыбу на пропитанных солью камнях. Утром управляющий нашёл его мёртвым: он лежал на спине, глаза открыты, рот приоткрыт, лицо синее. Никто по нему не плакал, даже Мария. Она стояла у порога и смотрела на тело отца. Ей вспомнилась её первая попытка сбежать из дома, в десять лет, когда она собрала узелок и пошла к озеру, чтобы уплыть на лодке в неизвестность. Отец догнал её у причала, отшлёпал, запер в подвале на двое суток и потом две недели не разговаривал с ней. Она вспомнила, как он однажды, пьяный, сказал ей: «Ты никогда не выйдешь замуж. Ты дикая кошка, а диких кошек никто не берёт в дом». Она вспомнила, как он смотрел на неё, когда она вернулась после смерти Елиазара, – с презрением и жалостью. Она вспоминала это, и слёзы не приходили.

Мать, Саломея, не прожила и года. Она умерла за ткацким станком, с челноком в правой руке и бердом в левой. Полотно, которое она ткала в последний день, так и осталось незаконченным, с длинной нитью, свисавшей вниз, как чья-то оборвавшаяся жизнь. Мария нашла её утром. Мать сидела с открытыми глазами, и на лице её было выражение удивления, как будто она не ожидала, что смерть придёт именно сейчас, в середине дня, когда ещё не дошит последний ряд. Мария закрыла матери глаза. Сняла со станка незаконченное полотно, свернула, убрала в сундук. Села на пол и заплакала. Плакала она не о матери, мать была чужой ей все эти годы. Она плакала о себе, о том, что осталась совсем одна. О том, что в этом мире не осталось никого, кто назвал бы её дочерью, никого, кто помнил бы её маленькой, с мокрыми волосами и ободранными коленками.

Дом Алфея перешёл к управляющему; отцовские родственники из Антиохии, услышав о смерти сборщика, прислали доверенное лицо с документами, и управляющему, который втайне был любовником одной из этих родственниц, помог им оформить наследство. Марию снова выгнали на улицу с узелком одежды, старой прялкой и незаконченным полотном матери. Две

другие сестры были замужем, а младшую взял на попечительство один из получивших наследство. Мария поселилась в лачуге на окраине Магдалы, там, где кончались дома и начинались болота, питавшие озеро. Болота называли гнилым местом, вода там была зелёная, покрытая ряской, пахнула сероводородом и тиной. По ночам над болотами поднимались бледные огни – болотные газы, которые вспыхивали и гасли, и суеверные рыбаки крестились, говорили, что это души утопленников бродят в поисках покоя. В лачуге не было пола, просто утрамбованная земля, покрытая прелой соломой. Не было окна, только дыра в стене, затянутая тряпкой. Не было очага, только яма для костра посередине, и дым уходил в дыру под крышей, которая никогда не закрывалась.

Мария спала на куче тряпья, свернувшись калачиком, как собака. Днём она ходила в город просить милостыню, продавать себя, воровать, когда удавалось. Ей было двадцать лет, но она выглядела намного старше. Её руки, некогда белые и тонкие, огрубели и потрескались. Лицо, которое в детстве сравнивали с распустившейся розой, стало серым, как зола, с глубокими морщинами вокруг глаз, которых не могло быть в двадцать лет. Волосы, когда-то длинные и густые, выпадали клочьями. Каждое утро она просыпалась и удивлялась, что проснулась. Каждую ночь она засыпала с надеждой, что не проснётся. Но сон был чутким, тревожным, полным кошмаров, в которых она тонула в озере, а кто-то стоял на берегу и смотрел, как она захлёбывается, и не протягивал руки. И в ней всё так же жили семь бесов.

Первый бес назывался стыд. Он приходил по утрам, когда Мария открывала глаза и видела дырявый потолок, сквозь который сочился серый свет, свет дня, который не хотелось встречать. Он шептал: «Посмотри на себя. Ты стала тем, кем все тебя считали. Ты блудница, ты падаль, ты мусор на дне колодца. Твои родители снова умерли бы от стыда, если бы увидели тебя сейчас».

Второй бес назывался гнев. Он поднимался в ней, когда какой-нибудь матрос, отдавший монету за ночь, начинал хвастаться перед товарищами, как он «отодрал магдалинскую сучку»; или когда торговка на рынке, узнав её, кричала вслед: «Проходи, проходи, не оскверняй мои овощи своей тенью»; или когда она видела детей, играющих на улице, весёлых, здоровых, с полными животами. Тогда её руки сжимались в кулаки так, что ногти впивались в ладони до крови. Она хотела убить всех жителей этого города. Хотела взять нож и перерезать глотки одному за другим, пока красная вода не смешается с синей водой озера и весь мир не утонет в крови.

Третий бес назывался зависть. Он настигал её на рынке, когда она видела молодых женщин с детьми на руках, счастливых, уставших, обыкновенных. Женщин, у которых был дом, муж, миска горячей похлёбки на ужин и детский смех за стеной. Мария ненавидела их. Ненавидела за то, что они жили той жизнью, которая не была дарована ей. За то, что их дети не умирали в младенчестве. За то, что их мужья возвращались из моря. За то, что они не знали, что такое стоять на коленях на грязном полу и чувствовать, как чужие руки сжимают твои волосы, а ты улыбаешься, потому что так надо, потому что, если ты не улыбнёшься, тебя побьют или не заплатят.

Четвёртый бес назывался ложь. Он внушал ей, что она уже не человек. Что нет ей прощения, нет возврата, нет пути назад. «Ты перешла черту, – шептал бес голосом, похожим на её собственный. – Теперь ты можешь только падать дальше вниз, в самую глубину. Там, где нет дна, ты найдёшь покой».

Пятый бес назывался страх. Он шептал о том, что завтра будет хуже, чем сегодня. Что тело её износится, красота увянет, и даже те, кто платил монету, отвернутся. Что она умрёт в этой лачуге, одна, и шакалы выгрызут ей глаза, прежде чем кто-нибудь найдёт её труп. Что никто не придёт, никто не позаботится, никто не скажет слова над её могилой, потому что у неё не будет могилы, её бросят в яму для безродных, туда, где хоронят рабов и преступников.

Шестой бес назывался пустота. Он выедал её изнутри, как червь выедает плод, оставляя одну кожуру, которая рассыпается при первом прикосновении. С ним нельзя было ни бороться, ни договориться. Иногда Мария сидела на пороге лачуги, смотрела на озеро и чувствовала, что внутри неё нет ничего. Ни боли, ни надежды, ни страха, ничего. Только ветер, дующий сквозь пустой дом.

Седьмой бес назывался отчаяние. Он редко появлялся, раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Но когда появлялся – Мария искала верёвку или нож, или высокий камень, с которого можно броситься в воду. Отчаяние говорило ей: «Нет выхода. Нет смысла. Нет бога. Есть только ты и эта вонь, и эта грязь, и эта боль, которая никогда не кончится, потому что ты заслужила её. Ты родилась, чтобы страдать. Ты проживёшь, чтобы страдать. Ты умрёшь, чтобы страдать и после смерти. Так зачем ждать?» Но что-то останавливало её и она продолжала жить.

\*\*\*\*\*

Слухи о пророке из Назарета дошли до Магдалы ранней весной, когда миндаль зацвёл на склонах холмов, а рыбаки начали выходить в море после зимних штормов, и вода в озере стала тёплой, почти ласковой. Говорили разное. Одни – что это Мессия, вернувшийся на землю, чтобы возвестить конец времён. Другие – что это чудотворец, исцеляющий любые болезни одним словом: даже проказу, даже слепоту от рождения. Третьи – что это мятежник, собирающий армию для войны с Римом, и что скоро начнётся восстание, и тогда все налоги будут отменены, а римлян выгонят пинками за пределы Иудеи. Но тех, кто видел его своими глазами, объединяло одно: они не могли забыть его взгляда.

– Он смотрит, – рассказывала старая Анна, торговавшая зеленью на рынке, – и кажется, что он видит тебя насквозь. Не как мужчины смотрят, с похотью или презрением, а как будто внутрь тебя. Как будто знает о тебе всё, даже то, что ты сама о себе не знаешь.

Мария слушала эти рассказы, сидя на корточках у порога, и не верила. Она давно перестала верить в чудеса. Чудес не было, были только голод, грязь и монеты, которые падают на пол со звоном. Были только семь бесов, которые жили в ней, пили её кровь, ели её плоть, дышали её дыханием. И никакой пророк не мог изгнать их, потому что они были частью её.

Но однажды, в тот день, когда солнце стояло в зените и воздух дрожал над озером, как вода в котле на медленном огне, она пошла к колодцу. Воды в кувшине оставалось на два глотка, а жажда мучила её уже вторые сутки. Она взяла ржавое ведро, единственное, что у неё было, накинула на голову грязное покрывало, чтобы не слепило солнце, и побрела по пыльной дороге к городскому колодцу, что стоял на площади у старой синагоги. Дорога была длинной, ноги болели, в горле пересохло так, что язык прилипал к нёбу. Когда она подошла к площади, там толпился народ. Мужчины, женщины, дети, старики – все вместе – смотрели в одну сторону. Мария остановилась на краю толпы. Она не любила толпу: в толпе её узнавали, в толпе на неё смотрели с отвращением, и она чувствовала эти взгляды кожей, даже когда не видела их.

– Что случилось? – спросила она у мальчишки, стоявшего рядом.

– Мессия, он здесь, исцеляет. Принесли слепого из Вифсаиды, и тот прозрел. Принесли больного на носилках, и тот встал и пошёл. Говорят, он даже мёртвых воскрешает.

Мария хотела уйти, она не верила в исцеления. Исцелений не бывает, бывает только временное забытьё, которое кончается с рассветом, оставляя после себя похмелье и стыд. Но ноги не слушались и не давали ей уйти, она стояла и смотрела туда, где в центре площади, под сенью старой смоковницы, сидел человек. Он не был похож на Мессию. Не было на нём ни верблюжьей шкуры, как у Иоанна Крестителя, о котором рассказывали, что он ест акриды и дикий мёд и кричит в пустыне. Не было огня в глазах, который жжёт издалека. Не было жестов проповедника, размахивающего руками, чтобы привлечь внимание. Он сидел спокойно, смиренно, почти незаметно, был одет в белый хитон, выгоревший на солнце до бледно-серого, и сандалии, подвязанные грубыми ремнями, потёртые от долгой ходьбы по пыльным дорогам. Лицо его было обыкновенным с первого взгляда. Но когда Мария задержала взгляд на этом

лице, она поняла, что не может отвести глаз. В нём было что-то, чего она никогда не видела ни на одном человеческом лице. Покой, такой глубокий, такой полный покой, что, глядя на него, Мария вдруг почувствовала, как внутри неё, в самой глубине, где уже много лет не было ничего, кроме пустоты и бесов, шевельнулось что-то живое. Что-то, что она не чувствовала со смерти последней дочери. Что-то, что, она думала, умерло навсегда. Она не знала, сколько простояла так. Может быть, минуту, может быть, час. Время вокруг этого человека текло иначе.

Человек между тем исцелял. Приносили к нему хромых – они начинали ходить. Приносили слепых – они открывали глаза. Приносили больных, которых несли на носилках четверо, а уводили на своих ногах, плача от радости и смеясь сквозь слёзы. Каждого он называл по имени. Каждому говорил: «Вера твоя спасла тебя». И в голосе его было столько тепла, что даже те, кто стоял вдалеке, чувствовали, как тает лёд в их собственных сердцах. Мария хотела уйти. Ей нечего было делать среди этих счастливых, которые получали чудо, потому что они были достойны. Она была недостойна и знала это. Все в Магдале знали это. И человек, если он действительно мессия, пророк, наверняка тоже знал. Он посмотрит на неё и отвернётся, как отворачивались все. Или, ещё хуже, скажет: «Изыди, грешница, не оскверняй святое место своим присутствием», – и она уйдёт, сторбившись, с глазами, полными слёз, и ляжет в своей лачуге, и больше не встанет. Она повернулась, чтобы уйти, сделала шаг, второй, третий. Но вдруг услышала голос:

– Мария.

Она замерла и не могла повернуться. Голос был негромким, тихим, почти шёпотом. Но она слышала его так отчётливо, будто он прозвучал прямо у её уха, будто весь мир затих, чтобы дать этому звуку пройти сквозь шум толпы, сквозь крики торговки, сквозь плач младенцев и скрип колодезных цепей, сквозь шум ветра и плеск волн, сквозь её собственное дыхание, которое вдруг остановилось.

– Мария, – повторил голос. – Подойди.

Она медленно обернулась. Человек смотрел на неё, прямо на неё. Через всю площадь, через сотни голов, через пыль, поднятую ногами паломников, через удушающую жару, через слёзы исцелённых и крики зевак. Он смотрел на неё, и в его взгляде не было ни осуждения, ни брезгливости, ни лицемерного сочувствия, которое бывает хуже проклятия. В его взгляде была любовь, чистая, спокойная любовь.

Мария не помнила, как преодолела разделявшее их расстояние. Она не помнила, как люди расступались перед ней: кто с испугом, кто с любопытством, кто с отвращением, кто с тайной надеждой, что, может быть, и до них дойдёт очередь. Она не помнила, как упала на колени, как её грязное покрывало соскользнуло с головы, открыв спутанные, выцветшие волосы, как слёзы впервые за много лет потекли по её щекам, оставляя светлые дорожки на серой, потрескавшейся коже. Она стояла на коленях перед этим человеком, и внутри неё, в той пустоте, которую она считала бездонной, словно кто-то разорвал мешок, в который были зашты все её бесы, и они вылетали наружу один за другим, скуля и корчась, как побитые псы.

Стыд вылетел с воем, и Мария вдруг перестала бояться своих собственных глаз в зеркале. Она посмотрела на свои руки и не почувствовала отвращения. Гнев вылетел с рыком, и кулаки её разжались, оставив на ладонях полосы запёкшейся крови, которые стали затягиваться прямо на глазах, как будто время ускорило, чтобы залечить раны, нанесённые годами. Зависть вылетела с плачем, и Мария увидела женщин с детьми и не почувствовала ничего, кроме тихой, светлой грусти. «У них есть дети, а у меня нет, – подумала она. – Но они тоже страдают, тоже боятся, тоже одиноки, даже когда их дом полон. Я не одна в своей боли». Ложь вылетела с шипением, и Мария поняла, что она всё ещё человек. Что душа её не сгорела, что она может вернуться. Может стать другой. Страх вылетел с визгом, и ночные тени перестали шевелиться. Луна перестала быть хищником, подкрадывающимся к добыче. Она стала просто луной – холодной, далёкой, красивой. Пустота просто исчезла. Растаяла, как утренний туман

над озером, оставив после себя только чистоту и свежесть. Мария вдруг почувствовала, что внутри неё есть место, которое теперь можно заполнить. И последний, седьмой бес, отчаяние, забился в уголке сознания, там, где пряталась мысль о верёвке и ноже, о высоком камне и холодной воде. Он не хотел уходить, вцепился когтями и шипел: «Она моя, моя навсегда. Я жил в ней дольше, чем ты, я знаю каждый её страх. Я знаю каждую её слабость, ты не имеешь права меня изгонять». Но человек посмотрел на этот уголок. Не сказал ни слова, просто посмотрел. И отчаяние выпустило добычу. Оно вылетело, даже не закричав, только всхлипнуло, как ребёнок, которого отнимают от груди слишком рано, слишком резко, слишком жестоко.

Мария подняла голову. Слезы текли по её лицу, но она не вытирала их, потому что они были чистыми впервые за много лет. Она смотрела на того, кто назвал её по имени, и не могла вымолвить ни слова. Горло перехватило, язык прилип к нёбу. Только слёзы говорили за неё.

– Встань, – сказал он. – Вера твоя спасла тебя; иди и впредь не грехи.

Она встала, ноги дрожали, как у новорождённого ягнёнка, который только что появился на свет и ещё не знает, как стоять на этом свете. Вокруг шептались. Кто-то говорил: «Это та самая, из лачуги у болот». Кто-то: «Из неё вышли семь бесов». Кто-то: «Нечистая, как она посмела приблизиться к святому?» Кто-то, с неожиданным сочувствием: «Смотрите, она плачет, может быть, и правда исцелилась».

Но Мария не слышала их, она смотрела на человека, и в её сердце, которое она считала мёртвым, загоралась искра.

– Как тебя зовут? – спросила она, и голос её, сорванный годами молчания, годами стонов и криков, которые никто не слышал, прозвучал хрипло, как у старой вороны, которая слишком долго сидела на сухой ветке.

– Меня зовут Иисус, Мария, – ответил он. – Из Назарета, – и улыбнулся.

Улыбка его была такой, что Мария не могла оторвать от неё глаз. В ней была только радость. Радость о том, что она, Мария, стоит здесь, перед ним, живая, исцелённая, свободная. Радость о том, что он сделал то, зачем пришёл. Радость о том, что ещё одно сердце открылось для любви.

Мария отошла от него, но недалеко. Села в тени дерева, на том же месте, где стояла, когда впервые увидела его. Дерево было старым, его посадили ещё при Ироде Великом, и ствол его был искривлён, как спина старого раба, а ветви сплетались в густой шатёр, под которым можно было укрыться от солнца и от чужих глаз. Вода в кувшине давно вытекла, ведро валялось на земле, забытое. Но Мария не чувствовала жажды. Внутри неё текла другая вода, живая, чистая, холодная, как горный ручей, который она помнила из детства, когда отец ещё водил её в горы, до того, как стал сборщиком податей, до того, как её продали замуж, до того, как всё рухнуло и превратилось в пепел. Она сидела, прислонившись спиной к шершавому стволу, и смотрела на него. Он снова исцелял, к нему подходили один за другим, и он не отказывал никому. Женщина с кровотечением, которая не могла остановить кровь, прикоснулась к краю его одежды и исцелилась. Мать принесла сына, который не мог говорить, он коснулся его губ и сказал: «Говори», – и мальчик заговорил, запинаясь, но заговорил. Старик с катарактой, почти слепой, попросил: «Сделай, чтобы я увидел своих внуков, прежде чем умру». Иисус плюнул на землю, смешал слюну с глиной, помазал глаза старику, и старик увидел.

Мимо Марии проходили люди. Некоторые бросали на неё косые взгляды, узнавали, отворачивались. Некоторые подходили и касались края её одежды, словно надеялись, что сила, изгнавшая бесов, перейдёт и на них. Мария не прогоняла их, потому что её пустоту заполнила любовь, которую она никогда не испытывала. Мария не знала, как назвать эту любовь, она знала только одно: она любит его. И любит не как бога, мессию, – она полюбила его как мужчину. И эта любовь не была грехом, она знала это. Если бы это было грехом, он не улыбнулся бы ей, не сказал бы «иди и впредь не грехи» – он сказал бы: «Отойди от меня». Но он не отослал её, а оставил сидеть в тени, и иногда, когда между исцелениями выпадала минута, он смотрел в её

сторону, и в его взгляде было что-то такое, от чего сердце Марии замирало, а потом начинало биться быстрее, как у девочки, которая впервые увидела море.

Она просидела там до вечера. Когда солнце начало клониться к закату, Иисус собрал учеников. Их было немного, все в простой одежде, с запылёнными сандалиями и лицами, обветренными долгой дорогой. Самый старший, коренастый, с курчавой бородой, что-то горячо говорил, размахивая руками. Самый молодой, почти мальчик, смотрел на учителя влюблёнными глазами. Ещё один, с острым, умным лицом, держался чуть поодаль, как будто что-то задумал.

Они повернулись и пошли в сторону северных ворот, туда, где за городом начиналась дорога на Капернаум. Мария тоже встала. Ноги всё ещё дрожали – слабость после исцеления была такой, будто она пробежала несколько миль. Но она сделала шаг, потом другой и пошла за ним, не зная, куда он идёт, не зная, возьмут ли её с собой, не зная, что скажут другие ученики. Она просто шла, как тогда, в детстве, шла к озеру, чтобы плавать. Кто-то из учеников обернулся, заметил её, что-то сказал учителю. Тот остановился, повернулся.

– Зачем ты идёшь за нами? – спросил Иисус. Не строго, не вопросительно, а так, как спрашивают, когда ответ уже знают, но хотят услышать из уст самого человека.

Мария опустила глаза. Потом подняла.

– Ты исцелил меня, – сказала она. – Я не знаю, куда ты идёшь, но я знаю, что хочу быть там, где ты. Позволь мне следовать за тобой, я буду прислуживать тебе и ученикам твоим. Буду готовить, стирать, носить воду, мне некуда больше идти и нет никого, кто ждал бы меня.

Ученики переглянулись, коренастый по имени Пётр нахмурился и что-то прошептал Иисусу. Мария не слышала о чём, но догадалась: «Если блудница пойдёт с нами, что скажут люди?»

Но Учитель не обратил внимания на его шёпот. Он смотрел на Марию, и в его взгляде было то же, что и днём, на площади: любовь и покой.

– Иди, – сказал он. – Ты будешь с нами.

Мария поклонилась. Не низко, как раба, а так, как кланяются раввину, с уважением, но без унижения. Она нашла своё место среди женщин, которые тоже шли за ними – Сусанна, Иоанна, жена Хузы, Саломея, мать Иакова и Иоанна. Они приняли её без слов, только посмотрели: кто с любопытством, кто с сочувствием, кто с настороженностью. Но никто не прогнал. Уже вместе вышли из Магдалы, когда на небе зажглись первые звёзды. Дорога шла вдоль берега, в двухстах локтях от воды, и в вечерней тишине слышно было, как волны лижут песок. Мария шла последней, позади всех. Ей нравилось это место: отсюда она видела всех, а её не видел никто. Она смотрела на спину Иисуса, тот шёл впереди, чуть ссутулившись, как человек, который несёт непосильную ношу. Плащ его развевался на ветру, и в свете луны, только что поднявшейся из-за холмов, он казался тенью, которая идёт по земле, чтобы осветить её изнутри.

– О чём думаешь, Мария? – спросила её Иоанна, женщина средних лет с добрым, усталым лицом.

Мария помолчала. Потом сказала:

– Я думаю о том, что в моей лачуге осталось незаконченное полотно. Моя мать ткала его, когда умерла, нить свисает с края, как оборванная жизнь. Я хотела бы закончить его когда-нибудь, но, наверное, уже не закончу.

Иоанна посмотрела на неё с жалостью: – У тебя была мать и она умерла?

– Была, и она очень много ткала.

– Все матери ткут. Если будет на то воля божья, ты закончишь своё полотно, а сейчас отпусти своё прошлое, как сделали все мы.

Мария не нашла, что на это ответить. Сегодня она заснёт под открытым небом, на жёсткой земле, на краю дороги, в тени оливковой рощи. Рядом с другими женщинами, которые

приняли её. В двух шагах от человека, который спас её. И когда она закроет глаза, последним, что она увидит, будет луна над Геннисаретским озером, такая же, как в детстве, когда она лежала на спине в тёплой воде, смотрела в небо и чувствовала себя свободной.

## Глава 5. Первое убийство не забывается.

Ему было шестнадцать, когда он впервые убил человека. Не римлянина, до римлян он тогда ещё не дорос, хотя часто думал об этом, сжимая в кулаке воображаемую рукоять. Человек, которого он убил, был иудеем. Более того, выросшим на соседней улице, и Иуда помнил его с детства: толстый, добродушный Егуда бен Ханания, торговавший овечьей шерстью и всегда дававший детям сушёные финики, когда они пробегали мимо его лавки. Теперь этот человек лежал в пыли с перерезанным горлом, и кровь его, густая и чёрная в лунном свете, впитывалась в ту самую землю, на которой они оба играли в камушки десять лет назад. Нож всё ещё был в руке Иуды. Короткий, кривой, лезвие дымилось на ночном холоде, и этот пар казался Иуде дыханием самой смерти, невидимой, стоящей рядом и разглядывающей его с холодным любопытством.

– Готово? – раздался шёпот из темноты.

Иуда не ответил, не мог. Горло перехватило ледяной рукой, и рука эта была его собственной. Он смотрел на тело, на то, как подёргивается ещё нога убитого – просто мышцы, просто рефлекс, ничего больше – и чувствовал, как внутри что-то меняется. Это была не совесть: у зелотов она спит крепко, ей не дают просыпаться праведным гневом. Что-то другое, то, что отличает убийцу по необходимости от убийцы по природе. То, что делает человека человеком.

– Эй, Искарриот, – шёпот стал настойчивее. – Стража идет, уходим.

Чья-то рука схватила его за плечо и рванула назад. Иуда споткнулся, едва не упал, но удержался на ногах и побежал. Они бежали втроем: он, Иоханан бен Заккай, их командир, и молчаливый гигант по имени Шимон, прозванный Скалой за свою способность проламывать головы одним ударом кулака. Бежали по кривым улочкам Иерусалима, прижимаясь к стенам, ныряя в тень, когда впереди мелькал огонь факела. Иуда бежал, не чувствуя ног, не слыша дыхания, не ощущая биения сердца. Он всё ещё был там, у тела. Всё ещё видел, как кровь растекается по пыли, образуя причудливые узоры, похожие на буквы неведомого алфавита. Они добрались до убежища, подвала под домом горшечника в Нижнем городе. Иоханан запер дверь на засов, Шимон молча уселся в углу и начал точить нож, хотя нож был и без того острый. Иуда прислонился спиной к холодной каменной стене и закрыл глаза.

– Ты как? – спросил Иоханан. Он был старше Иуды лет на десять, с лицом, изрубцованным шрамами, следами давнего боя с римским патрулем, и глазами, в которых фанатизм горел ровным, немигающим пламенем.

– Нормально, – ответил Иуда, не открывая глаз.

– Первый раз – всегда так, потом привыкнешь.

Иуда не ответил. Он думал о том, что не хочет привыкать.

Всё началось годом раньше. Иуде только-только исполнилось пятнадцать, и он уже твёрдо знал, чего хочет. Мечта, заложенная дедом в детстве, разрослась и окрепла: нужно найти Мессию. Найти великого царя, найти того, кто поднимет Иудею с колен. Для этого нужно было выбраться из провинциальной дыры в большой мир, в Иерусалим, где всегда кипела политика, где зрели заговоры, где вершились судьбы нации. Иуда ушёл из дома, когда ему минуло четырнадцать, ушёл без сожаления, оставив матери короткую записку на глиняном черепке: «Я вернусь, когда станет чем гордиться». В Иерусалиме он быстро понял три вещи: одинокий провинциал без денег и связей – никто; храмовые священники больше озабочены доходами от лавок, чем приходом Мессии; и то, что настоящая сила таится не в синагогах, не во дворцах, не в советах старейшин, а в подполье. В отрядах зелотов, тех, кто добивался своих целей ножом.

Зелоты, или, как еще называли, ревнителю, в прямом смысле ревновали к Богу. К тому, кто вывел их из Египта, дал закон на Синае и обещал им Мессию. Они верили, что никто, кроме Бога, не имеет права править народом. Ни кесарь, ни Ирод, ни первосвященники, купившие

свои должности за серебро. Только Бог, только Мессия, сын Давидов, который должен прийти. Эта вера была старой, как сама Иудея. Ещё во времена Маккавеев, за полтора века до описываемых событий, евреи поднимались на борьбу за свободу веры. Но тогда речь шла о защите закона от эллинистического развращения. Теперь, в эпоху римского владычества, вопрос стоял иначе. Римляне считали Иудею своей провинцией, а zeloty считали её Божиим уделом.

Движение оформилось в 6 году н. э., когда римский наместник Квириний провёл перепись населения. Для римлян это была бюрократическая процедура: посчитать людей и имущество, чтобы обложить их налогом. Для иудеев – святотатство. Считать народ Божий, как считают скот, означало унижить его. Заплатить подать языческому кесарю, который в Риме почитался богом, означало признать его власть выше Божьей. Тогда-то и восстал Иуда Галилеянин. Он был родом из Гамалы, города на восточном берегу Галилейского моря. Вместе с фарисеем Саддуком он поднял народ, объявив перепись богохульством, а уплату подати – идолопоклонством. Их лозунг был: «Единственным руководителем и владыкой своим мы считаем Господа Бога». Ни кесаря, ни прокуратора, ни царя из чужого рода. Только Бога, и только Мессию. Восстание было подавлено с жестокостью. Римляне не церемонились с бунтовщиками. Сам Иуда Галилеянин погиб, его последователей распяли на крестах вдоль дорог, его имя было проклято. Сыновья Иуды Галилеянина, Иаков и Симон, продолжают его дело и тоже будут распяты уже при прокураторе Тиберии Александре. Внуки уйдут в пустыню, станут вождями непримиримых. Семейное древо, политое кровью трёх поколений, стало для zelotov священным символом.

Затем движение распадётся на множество течений. Самых радикальных называли сикариями – «кинжалщиками», от латинского *sica* – короткий изогнутый клинок, который прятали в складках одежды. Они действовали в городах, особенно в праздничной толчее Иерусалима. Внезапно выхватить кинжал, поразить римского воина или, чаще, иудея, заподозренного в коллаборационизме, и тут же смешаться с кричащей от ужаса толпой. Такой террор имел двойную цель: утратить врага и спровоцировать репрессии. Жестокость римского ответа должна была, по замыслу сикариев, пробудить народ от спячки, заставить его взяться за оружие. Римляне называли их разбойниками. В римском лексиконе это слово означало повстанца, врага имперского порядка. Но для многих простых иудеев эти разбойники были последней надеждой, народными мстителями, продолжателями дела Маккавеев. Грань между бандитизмом и освободительной борьбой размывалась. Голодные крестьяне Галилеи и Иудеи, задавленные податями, видели в zelotax защитников. Аристократия и священство, связанные с Храмом и Римом, видели в них угрозу самому существованию народа.

Zeloty верили в Мессию, в царя-воителя из псалмов. Их Мессия должен был прийти с мечом, сокрушить язычников железным жезлом, восстановить царство Давида, очистить Храм от скверны. Именно эта вера заставляла их всматриваться в каждого, кто собирал вокруг себя толпы и говорил о царстве Божьем. Иуда примкнул к ним не сразу. Сначала он просто слушал на рынках, в синагогах, в тёмных углах винных лавок, где собирались недовольные. Слушал речи, одну пламеннее другой. Слушал пересказы пророчеств их интерпретации. Слушал рассказы о великих восстаниях прошлого, о Маккавеех, которые с горсткой воинов разбили армию язычников и очистили Храм. Его юношеское сердце, воспалённое мечтой, впитывало эти речи, как сухая земля впитывает дождь. Пока ему было пятнадцать, он был опьянён самой идеей борьбы. Он видел себя воином Мессии. Видел, как скачет рядом с царём на белом коне. Видел, как римские орлы падают в пыль. Картины эти были настолько яркими, что заслоняли реальность. А реальность была проста: пока Мессия не пришёл, нужно что-то делать. Иоханан бен Заккай завербовал его в отряд сикариев лично. Иуда не знал, что их отряд был лишь одним из многих, и не самым важным. Что настоящие лидеры zelotov сидели высоко, имели связи с храмовой аристократией и использовали таких, как Иоханан, в тёмную, для грязной работы. Он думал, что участвует в великом деле. Он был юн, зол и романтичен. Шимон-Скала дал ему

первый нож. Кривой, с костяной рукоятью, на которой кто-то вырезал имя Бога, непроизносимое имя, запретное для глаз и уст. Иуда принял нож с трепетом, как принимают святой дар. Месяцы ушли на тренировки. Его учили бить быстро, без замаха, под рёбра или в шею. Учили бесшумно передвигаться. Учили распознавать переодетых римских шпионов. Учили терпеть боль на допросах, если схватят. Иуда оказался способным учеником. Ловким, быстрым, хладнокровным. Иоханан хвалил его. Шимон одобрительно хлопал по плечу своей лапищей. Иуда гордился, гордость эта была пьянящей, как молодое вино, и такой же обманчивой.

Первое задание пришло в месяц Тишрей, когда жара спадает и ночи становятся длинными. Целью был Егуда бен Ханания, торговец шерстью из Кериота. Иуда знал его с детства. Когда-то, лет семь назад, этот человек дал ему горсть сушёных фиников и сказал: «Расти большим и сильным». Он был добрым человеком, но Иоханан объяснил, что Егуда бен Ханания – предатель. Что он передаёт римлянам сведения о зелотах. Что из-за него уже схватили и казнили троих.

– Ты сам из Кериота, – сказал Иоханан. – Ты знаешь его, ты знаешь улицы, ты сможешь подойти ближе, чем кто-либо.

Иуда не спросил, откуда у Иоханана сведения о предательстве. Не спросил, кто подтвердил вину. Не спросил, был ли суд хотя бы тайный, подпольный, какой-нибудь. Он просто кивнул. Просто взял нож, просто пошёл. Они ждали Егуду бен Хананию у городских ворот, когда он возвращался из вечерней молитвы. Иуда подошёл, первым приветствовал по-кериотски, спросил о здоровье семьи, о ценах на шерсть. Торговец обрадовался земляку, стал расспрашивать об отце, о матери. Иуда отвечал, улыбаясь. А потом, когда они зашли в узкий переулок, сказал: «Дядя Егуда, смотрите, там что-то на земле». Тот наклонился. Иуда ударил один раз, в шею, как учили. Кровь хлынула мгновенно. Гораздо больше, чем он ожидал. Егуда бен Ханания захрипел, схватился за горло, попытался что-то сказать и не смог. Его глаза, широко раскрытые, полные удивления и ужаса, встретились с глазами Иуды. В этих глазах был только вопрос: «За что?». Иуда смотрел, как человек, которого он знал с детства, оседает на землю, зажимая рукой рану, из которой толчками выходит жизнь. Иоханан и Шимон подошли, когда всё было кончено. Шимон одобрительно хмыкнул. Иоханан положил руку Иуде на плечо:

– Чистая работа, Искарриот. Теперь ты настоящий зелот.

Настоящий зелот – слова эти должны были наполнить его гордостью. Но внутри была только тьма. Такая огромная, такая чёрная, такая холодная, что, казалось, она поглотит его целиком вместе с ножом, с гордостью, с мечтой о мессии. Они скрылись, тело осталось лежать в переулке. Утром его найдут, поднимут крик, похоронят на городском кладбище, и вдова будет рвать на себе волосы, а дети – плакать. Никто не узнает, кто убил. Никто не догадается, что убийца мальчишка из Кериота, которому покойный когда-то давал финики. Никто, кроме самого Иуды, а Иуда будет помнить. Помнить всю жизнь. И каждый раз, когда он увидит финиковую пальму, каждый раз, когда услышит запах овечьей шерсти, каждый раз, когда наступит месяц Тишрей, он будет помнить.

Бессонница пришла в ту же ночь. Иуда лежал в подвале у горшечника, слушая, как сопит во сне Шимон и как скрипит пером Иоханан, составляющий донесение начальству, и не мог уснуть. Перед его глазами стояло лицо Егуды бен Ханании, которое он помнил с детства. Доброе, с морщинками у глаз, с улыбкой, которая появлялась, когда он протягивал детям горсть сушёных фиников. Иуда повернулся на бок, поджал колени к груди, как в детстве, когда ему снились кошмары. Но сейчас кошмар был не сном, а реальностью. И от него нельзя было проснуться. Он думал о деде, о том, что сказал бы старый Авиезер, если бы узнал, чем занимается его внук. «Ты смотришь вниз, а не вверх», – сказал он когда-то на крыше. Теперь Иуда смотрел вниз в самом прямом смысле: на кровь, на пыль, на смерть. Он разучился смотреть вверх, разучился видеть звёзды. Самые страшные мысли пришли позже, под утро, когда небо за окном начало сереть, а крик первого петуха разорвал тишину. Иуда вдруг понял, что он идёт

не туда. Что путь ножа – путь в никуда. Что мессия не нуждается в таких, как Иоханан. Что царство божье нельзя построить на крови.

Иуда сел на своей циновке и устался в одну точку. Он знал, что делать. Он уйдёт от сикариев. Уйдёт от Иоханана, от Шимона, от ножей и их подвалов и пойдёт искать мессию. Иуда стал перебирать в памяти всё, что слышал о возможных претендентах. Он слышал об Иоанне, который крестил в Иордане и говорил о покаянии. Но тот лишь проповедник, а он ведь должен быть воином, носить меч. Иуда сомневался. Некоторые жили общинами, отказывались от имущества, ждали конца времён. Они ждали, когда бог сам всё сделает, а Иуда не хотел ждать. Он хотел действовать. У других была власть в синагогах, но они были так погружены в толкования закона, что, казалось, сам мессия должен пройти экзамен по кашруту, прежде чем они его признают. Были еще храмовые аристократы, эти вообще сотрудничали с римлянами. Иуда презирал их даже больше, чем самих римлян. Предатели – хуже, чем Егуда бен Ханания. Нет, Мессия должен быть другим. Он должен быть как Давид, пастух, ставший царём. Как Маккавей, воин, победивший империю. Как Моисей, вождь, который вывел евреев из рабства. Он должен быть простым и великим одновременно. Иуда дал себе слово: он будет искать, пока не найдёт. Он обойдёт всю Иудею, всю Галилею. Он будет слушать каждого проповедника, приглядываться к каждому вождю, оценивать каждого, кто претендует на звание мессии. И когда найдёт, он падёт перед ним на колени и скажет: «Учитель, я твой, веди меня, я ждал и искал тебя всю жизнь».

Утром он встал, собрал свои вещи – немного: узелок с хлебом, запасной плащ, нож, который он не решился выбросить, – и вышел из подвала. Иоханан спал, Шимон спал, Иуда не стал их будить. Он знал, что они не поймут. А если поймут – не отпустят. Из сикариев не уходят просто так. Из сикариев уходят только на казнь. Он вышел на улицы просыпающегося Иерусалима. Город оживал: открывались лавки, кричали разносчики воды, женщины спешили к колодцам, священники шли в храм. Всё было как обычно. И никто не знал, что этой ночью умер человек и что этой ночью родился другой.

## Глава 6. Каждая эпоха получает своего Иуду.

Резников закончил чтение дневника, осторожно, почтительно свернул папирус и убрал его в кожаный футляр. Руки у него дрожали от внутреннего озноба, какой бывает, когда читаешь что-то, написанное будто бы про тебя. За окном сгущались московские сумерки, длинные, точно режиссёр, который тянет паузу, проверяя нервы зрителя. Стекло покрыла изморось, и в этой туманной плёнке огни переулка расплывались в жёлтые кляксы. Где-то далеко, на Садовом, прогудел сигнал машины, одинокий, как крик ночной птицы. Резников прошёл к двери балкона, отдернул штору и вышел на открытый воздух. Балкон был крошечный, заставленный ящиками с пустыми бутылками. Холодный ветер ударил в лицо, взъерошил волосы, забрался под свитер ледяными пальцами. Роман не накинул на себя тёплой одежды, ему нужен был этот холод. Он выдыхал пар и смотрел на Москву. На её крыши, антенны, светящиеся окна. На людей, ползущих в пробках. На всю эту огромную, равнодушную машину жизни, которая перемалывает человеческие судьбы, не замечая, что внутри неё зреет что-то нездешнее.

«Я тот, кого нельзя оправдать...». Фраза из дневника не уходила, звучала в голове, как навязчивый мотив, как тема, которую композитор придумал для главного героя и теперь варьирует во всех тональностях. Резников знал, что такое лейтмотив: он сам выстраивал звуковые и визуальные лейтмотивы в своих фильмах, но здесь он столкнулся с лейтмотивом, который пришёл извне, из глубины времён. Он закурил, спичка вспыхнула, осветила на мгновение его лицо, усталое, с тёмными кругами под глазами, с лихорадочным блеском в зрачках, и погасла. Дым смешался с туманом, и на секунду Резникову показалось, что он стоит над какой-то бездной, в которой смешались все эпохи сразу: древний Иерусалим, Москва, его собственная жизнь. Он думал о спектакле. О своем новом спектакле «Иуда», который он задумал полгода назад и который должен был стать его возвращением в большой мир театра. После провала фильма и его как режиссера в целом, Резников долго лежал на дне, как рыба, выброшенная на берег, не мог ни дышать, ни двигаться. Деньги таяли, друзья рассасывались, его подружка Лера с телевидения перестала звонить, наверное, от того, что он сам начал ее отталкивать. Он уже подумывал продать квартиру и уехать к чёрту на кулички, в какую-нибудь глушь, где нет кино, нет театра, нет ничего, только лес, поле и какая ни будь деревня. Но ему в руки попала статья об иммерсивном театре. Статья была написана бойко, но поверхностно, про то, как в Нью-Йорке ставят «Макбета» в заброшенном отеле, как в Лондоне зрители бродят в масках по лабиринтам, как в Москве появились первые опыты на эту тему. Резников прочитал, хмыкнул и эта идея зацепилась в его голове. Иммерсивный театр, в котором зритель становится частью действия. Где нет четвёртой стены, где сцена повсюду, где наблюдаешь историю и проживаешь её. Где ты можешь пойти за любым персонажем, заглянуть в любую комнату, заговорить с любым актёром, и от твоего выбора зависит, что ты увидишь, а что пропустишь. «Это же идеально для моего Иуды», – подумал он тогда.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.